АДЕЛЬ.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.
=
1837.

АДЕЛЬ.

Adel'

АДЕЛЬ.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

Печатано въ типографіи Х. Гинце.

═

1837.

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ,

съ тѣмъ, чтобъ по отпечатаніи представлено было въ Цензурный Комитетъ узаконенное число экземпляровъ.

Санктпетербургъ, 30 Августа 1836 года.

Цензоръ П. Корсаковъ.

Д. Д. С-ой.

Я думалъ о васъ, когда писалъ Адель, какъ и прежде думалъ, какъ буду думать всегда. Кому же лучше могу я ее посвятить, какъ не той, о которой я такъ часто, такъ долго, такъ сердцемъ думалъ? Я . . . . но это я только вамъ могу сказать.

По неволѣ подумаешь, что съ головою иногда бываетъ тоже, что такъ часто случается съ сердцемъ — когда оно полно чувствъ, у васъ какъ будто недостаетъ словъ для ихъ выраженія; вы какъ нѣмой! когда голо-

ва ваша кипитъ мыслями — у васъ нѣтъ мысли. Это не парадоксъ.

Что я напишу? . . .

Люди, на видъ очень схожіе между собою характеромъ, большею частію начинаютъ различествовать, когда взволнуются ихъ страсти. Вы никогда бы не сказали, что эти два *человѣка-антипода* походили когда-нибудь другъ на друга. И однакожъ это сбывается, и сбывается часто. Жюль и Б * * * (дѣйствующія лица въ моей повѣсти) были оба вѣтрены. Да. Но въ нихъ заговорили страсти — посмотрите, схожи-ли они теперь? . . . Жюль любилъ, любилъ нѣжно, страстно — неудача. . . . и онъ засмѣялся. Б * * * полюбилъ — и онъ перемѣнился весь. Въ

немъ ни капли не осталось сходства съ Жюлемъ. Не ищите сходства! — Другое. Б * * * разсуждаетъ; но вы не должны искать въ его разсужденіяхъ глубокости. Вы ея не въ правѣ требовать: онъ говоритъ, какъ обыкновенно говорятъ такіе люди, какъ онъ. Ихъ не много. Я твердо увѣренъ, что вы сами готовы согласиться со мною въ томъ, что между обыкновеннымъ разговоромъ и диссертаціею ученаго или лекціею профессора есть большая разница; и что то, что было бы прекрасно въ лекціи и диссертаціи, выходило бы изъ границъ естественности въ діалогахъ. Неужели вы думаете, что разговоры О'Конелля въ обществахъ проникнуты тою же удивительною энергіею, которою дышатъ его рѣчи? Dixi.

Повѣсть, предлагаемая мною теперь читателямъ, была уже помѣщена въ С. О. Я ее передѣлалъ, или лучше, я написалъ совсѣмъ новую повѣсть, сохранивъ только одну основную мысль: ее я перемѣнить не могъ, не хотѣлъ. Если найдутъ, что я во многомъ ошибался — (а кто не ошибается?

Въ лунѣ и солнцѣ пятна есть —)

то не знаю, послужитъ ли мнѣ извиненіемъ, если я откровенно признаюсь, что во всемъ, что̀ я дѣлаю что̀ я говорю, что̀ я пишу, — одно сердце мой совѣтникъ, мое вдохновенье, мой умъ, моя Эгерія. О если-бъ вы знали, какъ она сладка, эта дума сердца — вы бы не осудили меня, вы бы простили мнѣ.

Помню: чувство ужасное для школьника, не знать урока и идти въ школу; — но еще въ милліонъ разъ ужаснѣе, написать что-нибудь и не знать, что̀ скажутъ . . . .

E qual è quella opera umana, che per quanto abbia ella difetti, alcuna bellezza non abbia? — Такъ говоритъ въ своемъ «Parere» Альфіери, а неужели творецъ Брута и Валеріи могъ сказать не правду?

Прощайте! Прощайте!

К. П.

С. Петербургъ,

25 *Августа* 1836.

I.

УМЕРЛА!

Много бѣдъ!
Безъ конца.
Десять лѣтъ
Нѣтъ отца.
Была мать —
Но и та
Во сырой ужъ землѣ.
Чуждъ съ тѣхъ поръ онъ вездѣ:
Онъ кругомъ сирота! . . .

— *Старинная пѣсня.* —

. . . . Nessun maggior dolor
Che ricordarsi del tempo felice
Nella miseria . . . .

— Dante. —

I.

Передъ огромнымъ, великолѣпнымъ трюмо стоялъ молодой человѣкъ щегольски одѣтый и, казалось, любовался собою. Улыбка самодовольствія мелькала на его устахъ; его большіе черные глаза блистали радостію. — «Какъ я хорошъ собою!» —

вѣрно думалъ онъ, хотя этого и не говорилъ: вѣдь не все же говорится, что думается. — И въ самомъ дѣлѣ онъ былъ прекраснымъ мущиною! Какъ его темные волосы шли къ его блѣдному, продолговатому лицу; какъ красиво его бѣлые зубы выказывались изъ-подъ красненькихъ, небольшихъ его губъ; какъ щегольски черный фракъ обрисовывалъ его формы; какъ завистливо прекрасно сшитый сапожокъ обтягивалъ стройную, маленькую ножку! За то, сколько миленькихъ глазокъ дѣлались томными или пылали, когда онъ на нихъ смотрѣлъ. За то, сколько онъ имѣлъ завистниковъ! —

Вамъ вѣрно хочется знать, какъ его зовутъ? — Я въ отчаяніи! . . . Но, право, не могу вамъ сказать его имени. Это тайна. Его имя . . . Я просто назову его Б***.

— Иванъ, сказалъ Б***, оборачиваясь

къ одному старичку, тутъ стоявшему, и показывая ему какую-то записку тщательно сложенную: когда принесли это?

— Въ половинѣ пятаго.

— Кто?

— Какой-то человѣкъ въ голубой ливреи.

— Отъ кого бы это? (онъ провелъ рукою по лбу). Нѣтъ! . . . Посмотримъ.

Б*** распечаталъ записку и посмотрѣлъ на подпись.

— Э-ми-ли! . . .

Онъ на-скоро пробѣжалъ записку и улыбнулся.

— Madame, сказалъ онъ, выставивъ

нѣсколько впередъ нижнюю губу, вы очень мило пишете, еще милѣй сами, но я никакъ не могу быть у васъ сегодня, хотя вы и *однѣ* дома. Я далъ уже слово Маркизѣ Роганъ провести этотъ вечеръ у нея. Тамъ балъ, а у васъ . . . . и небрежно бросивъ записку къ кучѣ другихъ, онъ продолжалъ: мнѣ право ужъ надоѣли эти нѣжности! И эта вѣчная любовъ—она, можетъ-быть, нравилась во времена Баярдовъ; но теперь — это монета, вышедшая изъ употребленія, и давнымъ давно. И къ чему такъ часто вздыхать?

— Знаете ли, сказалъ онъ вдругъ бросившись на диванъ, это можетъ повредить вашей груди, а было бы жестоко не поберечь ея: она такая хорошенькая!... Право я бы вамъ совѣтовалъ Эмили . . .

Иванъ тяжело вздохнулъ.

И на лицѣ Б***, до того столь вѣ-

тренно-веселомъ, даже насмѣшливомъ, выразилось участіе и его глаза, съ какимъ-то особеннымъ добродушіемъ, обратились на старика.

— Что это съ тобою, мой другъ? спросилъ онъ, протягивая къ нему руку: не боленъ ли ты? Я уже давно замѣчаю: тебя что-то тревожитъ. Откройся мнѣ. Ты знаешь какъ я тебя люблю, и какъ всегда готовъ помочь, гдѣ только можно...

— О сударь, отвѣчалъ Иванъ, стараясь улыбнуться, я совершенно увѣренъ въ вашемъ ко мнѣ расположеніи и не перестаю молить за васъ Бога; . . . но съ нѣкоторыхъ поръ . . . если бы я зналъ . . . я бы . . .

Онъ хотѣлъ ему напомнить о его матери, по мнѣнію старика, еще такъ недавно потерянной, пожурить за его вѣ-

тренность, расточительность и — не зналъ какъ начать.

Въ это время пробило 10 часовъ.

— Ужѐ!

И накинувъ плащъ, бросивъ бѣгло еще одинъ довольный взглядъ на трюмо, сказавъ: «до свиданья!» Ивану, Б*** изчезъ.

═

Скромно прижавшись въ одномъ уголкѣ своей небогатой, но опрятной комнатки, сидѣлъ Иванъ. Передъ нимъ лежала какая-то толстая книга и футляръ съ очками. Онъ вынулъ изъ футляра очки, надѣлъ ихъ — придвинулъ къ себѣ свѣчку, перевернулъ въ книгѣ нѣсколько листовъ и сталъ читать. Его чтеніе продолжалось

не долго. Онъ задумался; но вдругъ, какъ бы вспомня о чемъ-то тяжкомъ, какъ бы пораженный какою-то тревожною мыслію, вздрогнулъ! — Книга выскользнула изъ рукъ и, тихо скатываясь съ его колѣнъ, съ шумомъ упала на полъ. Иванъ не слыхалъ. Свѣча нагорѣла и, нагнувшись какъ-то на одну сторону, капала на его платье. Иванъ этого не замѣчалъ. Его голова, бѣлая какъ лунь, склонилась на грудь и крупныя слезы, одна за другой, медленно... медленно... катились по его щекамъ; но ни одинъ вздохъ не подымалъ его груди, ни одного звука не выходило изъ его сжатыхъ губъ: онъ, казалось, спалъ.

Мечты о прошедшихъ дняхъ счастія, горькое воспоминаніе объ испытанныхъ утратахъ затомили, взволновали его душу и старикъ не вынесъ, не вытерпѣлъ: онъ заплакалъ. Онъ какъ ребенокъ плакалъ.

Иванъ съ молодости служилъ въ домѣ Б***, и со всею горячностію матери любилъ своего молодаго барина. Онъ видѣлъ его рожденіе. Онъ училъ его ходить. Сколько разъ носилъ онъ его на рукахъ; съ какою радостію раздѣлялъ его ребяческія игры, — дѣлался почти самъ ребенкомъ. Какъ восхищался онъ, когда замѣчалъ, что при разсказѣ о какомъ-нибудь великодушномъ поступкѣ, щеки дитяти покрывались румянцемъ, глаза пылали и онъ лепеталъ: — « О, и я сдѣлалъ бы тоже! » — Какъ плакалъ онъ, когда Б***, увидѣвъ нищаго, отдавалъ ему послѣднее, свои любимыя игрушки, и говорилъ ему съ дѣтскимъ добродушіемъ: — « не печалься, я попрошу за тебя маменьку! » — Только одно иногда тревожило Ивана: Б*** былъ вѣтренъ. Но онъ опять былъ такъ добръ, такъ уменъ, такъ любезенъ, такъ любилъ Ивана, что Иванъ не могъ не простить ему этого недостатка. О, мы

такъ охотно прощаемъ *все* тѣмъ, которыхъ любимъ. Мы бы мучились, еслибъ не могли имъ простить. Мы имъ изъ эгоизма прощаемъ.

Еще груднымъ ребенкомъ Б*** лишился своего отца. Потерявъ мужа, ею страстно любимаго, мать всю свою нѣжность обратила на сына. Всѣ ея чувства слились въ одно, полное самоотверженія, энергіи и героизма, — въ чувство материнской любви. Чего пожалѣетъ мать для своего дитяти? Чего не сдѣлаетъ для него? Чѣмъ не пожертвуетъ? Возьмите у нея все, лишите ее даже надежды на будущее; но оставьте у ней ея дитя, — она не будетъ роптать — нѣтъ! она будетъ благодарить васъ, молиться за васъ, называть васъ ангеломъ. Вы ей покажетесь ангеломъ. — Сколько ночей безъ сна проводитъ мать надъ колыбелью больнаго младенца. Замѣчали-ли вы, съ какою нѣж-

ностію она смотритъ на черты столь милыя, столь драгоцѣнныя ея сердцу; считаетъ каждое біеніе пульса, подсматриваетъ за малѣйшимъ движеніемъ? — Въ эти минуты глаза матери невыразимы, неуловимы для живописца, потому, что въ нихъ переходитъ тогда вся ея жизнь, вся ея любовь, вся тревога ея души, всѣ ея надежды! . . . И когда наконецъ здоровье малютки снова начнетъ возвращаться, и онъ ей улыбнется первою улыбкою — о! тогда чувство ея неистовая радость, радость почти бѣшенная. Она бы задушила его въ своихъ объятіяхъ, разцѣловала, зацѣловала бы его . . . но онъ такъ слабъ; она боится повредить ему даже ласками и она пересиливаетъ свое чувство, заключаетъ въ сердцѣ свои восторги (еслибъ вы знали какъ это тяжело!) и только глазамъ своимъ позволяетъ говорить . . . И за все это она не требуетъ ни какой награды. Счастіе сына, вотъ все

ея счастіе, вся цѣлъ ея жизни! . . . Что ей до себя, когда *онъ* счастливъ? Когда *онъ* улыбается — развѣ это не награда? не радость, выше всѣхъ радостей, для сердца матери? . . . Развѣ есть для нея что-нибудь, кромѣ сына? — Любовь матери есть единственная страсть — если только высокое чувство это можно назвать страстію — въ которой нѣтъ и тѣни эгоизма. — А когда любимецъ ея несчастливъ . . . . я не захотѣлъ бы быть матерью; я не могъ бы перенесть ея мученій. А она живетъ, чтобъ утѣшать *его!* Какъ же должна быть сильна материнская любовь, когда женщина столь слабая, нѣжная, можетъ перенести *столько* мученій! . . Но есть одно мученіе, котораго не превозмочь сердцу матери, которое ее убиваетъ. Это неблагодарность того, для котораго она такъ много сдѣлала; — но и тутъ еще, умирая, она благословляетъ своего убійцу, жалѣетъ, что не могла

перенести и этого удара . . . Отецъ этого не сдѣлаетъ. — Вотъ женщина, передъ которою я бы съ восторгомъ всталъ на колѣна — и благоговѣлъ! . . .

Б*** уже было 20 лѣтъ, когда его мать, выходя однажды изъ *Малаго Театра* (кто его не помнитъ!) была принуждена долго ждать кареты. Погода была сырая. Она простудилась. На другой день она почувствовала ознобъ: ознобъ скоро прошелъ. Она начала кашлять по утрамъ и ночью; но думая, что и это такъ же пройдетъ, ни слова не сказала Доктору о своей болѣзни. Но когда наконецъ кашель ея сталъ усиливаться, и она почувствовала сильную боль въ груди: то принуждена была прибѣгнуть къ его помощи. Докторъ, человѣкъ съ большими познаніями и прекрасный медикъ, но впрочемъ чудакъ большой руки, страстный охотникъ до нюхательнаго табаку и устрицъ,

въ кругу молодыхъ людей шутникъ и острякъ, а съ дамами второй Фридрихъ Великій, — пожурилъ ее, что она такъ долго молчала, распросилъ ее, что-то прописалъ и обѣщалъ ей, что она скоро выздоровѣетъ. Докторъ ее обманывалъ. У ней была чахотка и выздоровленіе было невозможно.

Она слегла въ постелю. Силы ея видимо уменьшались. Худоба становилась ужасною. Состояніе Б*** было невыразимо; — и оно было тѣмъ мучительнѣе, что онъ, боясь еще болѣе растревожить больную, долженъ былъ скрывать свои чувства; и часто, когда его сердце обливалось кровью, улыбаться больной, утѣшать больную. А это такъ трудно утѣшать, когда безутѣшность въ собственномъ сердцѣ!

Б*** почти не отходилъ отъ постели

матери. Онъ былъ все тутъ, все съ нею!— Онъ зналъ, что это было не на долго; а чего бы онъ не далъ, чтобъ это было *на долго*, чтобъ никогда ея не лишиться. Онъ всегда такъ любилъ свою мать; но теперь, казалось, любилъ ее еще болѣе. Онъ никогда не лыбилъ ее такъ нѣжно какъ теперь; — и онъ ее терялъ! и какъ терялъ! . . .

Три ночи сряду Б*** просидѣлъ у постели матери и подавалъ ей лекарства. Какъ тогда дрожали его руки. Какъ ныло его сердце, когда онъ всматривался въ это лицо, прежде столь прекрасное, а теперь . . . О! онъ не могъ смотрѣть на него. Онъ закрывалъ лицо руками и плакалъ. Онъ хотѣлъ бы плакать кровью! Лишиться того, что намъ дорого, вдругъ, за-глаза, еще можетъ перенести сердце; но видѣть постепенное исчезанiе того, кого мы любимъ болѣе всего на свѣтѣ,

за кого бы охотно пострадали сами — о, это истерзаетъ сердце даже самое холодное, измучитъ васъ. Б*** былъ истерзанъ, измученъ. Блѣдность его испугала больную; и она забыла о своихъ собственныхъ страданіяхъ; она опять сдѣлалась матерью: она видѣла, что сынъ ея страдалъ. Докторъ однако жъ увѣрилъ ее, что его болѣзнь была ничто иное, какъ изнуреніе силъ, еще болѣе увеличенное бдѣніемъ. Сонъ — вотъ единственное лекарство, которое предписалъ Докторъ. Б*** долженъ былъ дать матери слово послѣдовать его совѣту и она не прежде успокоилась, пока ей сказали, что сынъ ея уже спитъ.

Въ ночи ей вдругъ сдѣлалось хуже. Она послала за Докторомъ, но не велѣла будить сына. Черезъ четверть часа пріѣхалъ Докторъ.

— Хорошо, что вы пріѣхали, сказала больная слабымъ голосомъ, мнѣ что-то очень дурно, такъ безпокойно (Гмъ! Гмъ! Гмъ!) Видите какъ я кашляю. Это безпрестанно.

— Все скоро пройдетъ, отвѣчалъ Докторъ, садясь возлѣ больной, только будьте спокойны. Я вамъ ручаюсь за вашу жизнь.

— Право, Докторъ? спросила больная, съ радостію почти дѣтскою.

Докторъ только кивнулъ головою.

— Скажите, я еще не умру?... Прежде, когда я лишилась мужа, мнѣ смерть показалась бы благодѣяніемъ, но теперь мнѣ не *хотѣлось* бы умереть. Отчего всѣ такъ боятся смерти? Развѣ смерть не лучше жизни, покой не лучше тревогъ?

— Послушайте, я еще буду жить? спросила она вдругъ, и съ безпокойствомъ смотрѣла на Доктора.

— О, вы еще долго будете жить!

Она сильно закашляла.

— Ахъ, сказала больная съ трудомъ переводя дыханіе, какой скверный кашель. О грудь моя, грудь!

— Примите это, сказалъ Докторъ, поднося больной лекарство. Это васъ облегчитъ.

Она проглотила съ трудомъ.

— Докторъ, подойдите! сядьте вотъ сюда. Не думайте, чтобы я боялась смерти. Напротивъ. Но вотъ-что меня мучитъ: — когда я умру, что̀ будетъ съ моимъ сы-

номъ? Онъ еще такъ молодъ. Для него только я бы хотѣла жить, не для себя. Съ-тѣхъ-поръ какъ я сдѣлалась матерью, я перестала о себѣ думать; я только думала о сынѣ. Сынъ мой! сынъ мой! . . . Я знаю, я должна умереть. Кто жъ безъ меня, когда онъ будетъ плакать, осушитъ его слезы? Кто его утѣшитъ, когда онъ будетъ нуждаться въ утѣшеніи. Другъ?... Но другъ никогда не будетъ матерью.

Она хотѣла приподняться и не могла.

— Не могу.

Она схватила руку Доктора и притянула ее къ себѣ.

— Послушайте, Докторъ, сынъ мой, когда я умру — (а я чувствую, что скоро умру) — останется одинъ. Онъ не имѣетъ родственниковъ, вы это знаете. Вы еще

были знакомы съ моимъ мужемъ; мнѣ кажется, любите моего сына (она сколько у нея было силы пожала его руку), о добротѣ вашей ни слова. Кто ея не знаетъ?

Голосъ ея задрожалъ, глаза ея впились въ Доктора.

— Дайте мнѣ слово, Докторъ, проговорила она скоро и громче прежняго, клянитесь мнѣ, что будете . . .

Сильный, удушливый кашель не далъ ей докончить. Вдругъ, какъ бы приподнятая невидимою силою, она вскочила съ кровати — въ груди ея страшно хрипѣло — она потянулась, глаза ея выкатились — она упала . . . .

Ее подняли. Она уже была мертва.

Въ это время вошелъ Б***. Замѣтивъ

слезы на глазахъ Доктора, онъ поблѣднѣлъ; ужасное предчувствіе сдавило его сердце — онъ однакожь продолжалъ подвигаться къ кровати, на которой лежала его мать.

— Матушка, сказалъ онъ дрожащимъ голосомъ, я уже выспался; я могу остаться у васъ?

Молчаніе.

Онъ нагнулся и взялъ ея руку . . .

— Умерла! закричалъ онъ вдругъ ужаснымъ голосомъ. Онъ весь трясся. Лицо становилось все блѣднѣе и блѣднѣе . . . .

— Умерла, повторилъ онъ чуть слышно, какъ-бы про себя. Ноги его подкосились.

Его вынесли безъ чувствъ.

Похороны были великолѣпны. — Б*** никуда не выходилъ, онъ даже не прогуливался. Онъ отказался отъ всѣхъ удовольствій. Онъ не хотѣлъ никого видѣть; ни съ кѣмъ говорить . . . Ни на минуту не покидала его мысль о матери. И эта мысль, какъ угрызеніе совѣсти, терзала его душу. Онъ не походилъ на себя. Онъ весь исчахъ. По цѣлымъ часамъ иногда сидѣлъ онъ на одномъ мѣстѣ и смотрѣлъ на медальонъ съ портретомъ матери, и не могъ на него наглядѣться, не могъ имъ налюбоваться до-сыта.

— О, говорилъ онъ тогда, какъ я ее любилъ!... Зачѣмъ было мнѣ ея лишиться?.... Зачѣмъ я — именно я, такъ несчастливъ?...

И съ невыразимою грустью онъ прижималъ медальонъ въ своимъ губамъ.

II.

ИТАЛІАНКА.

— Вы слыхали?

— О чемъ?

— Что Sophie отравилась.

— Да.

— И это вы говорите такъ холодно?

— Не плакать стать.

— Но она отравилась, чтобы спасти мужа.

— Знаю.

— Поступокъ Sophie васъ не удивляетъ.

— Ни мало.

— Какъ?

— Для женщины нѣтъ ничего невозможнаго, когда она любитъ.

— А! . . .

— *Анонимъ.* —

II.

Въ одно утро — это было мѣсяца три послѣ смерти матери, и года съ два до разсказаннаго нами въ началѣ -- у окна одного дома на Англійской-Набережной сидѣлъ Б*** и съ большимъ вниманіемъ читалъ книгу; и только изрѣдка, когда

рука, державшая книгу, какъ-бы уставъ, упадала на колѣна, глаза его нѣсколько подымались и съ какою-то грустною любовью слѣдили за Невой . . . Скажите, не замѣчали-ли вы, что каждой разъ, когда вы засматривались на Неву, васъ, какъ-то невольно, брала охота мечтать — и вы мечтали; и вмѣстѣ съ ея быстриною уносились въ цѣлое море неизвѣданныхъ думъ? — Неправда-ли, въ васъ раждалось желаніе броситься въ нее, обнять ее, натѣшиться ея холоднымъ объятьемъ, погрузиться въ нее — и не выплывать...

Б*** опять читалъ.

Сердце Б*** имѣло двухъ любимцевъ, два магнита, въ которые теперь стекались, всѣ его думы, всѣ его желанія, всѣ его чувства: *Нева* и *Веневитиновъ!* Оттого каждое утро и каждый вечеръ онъ садился у окна — читалъ Веневитинова и лю-

бовался Невою. — Онъ жилъ двумя жизнями: жизнью сердца и жизнью глазъ.... Нева и Веневитиновъ!... Это васъ какъ-то обдастъ поэзіею! — Надо быть поэтомъ въ душѣ, чтобъ понять эту любовь; не смѣяться этой любви; любить какъ Б***.

Б*** читалъ. —

Въ дверь просунулась бѣлая голова Ивана:

— Къ вамъ пріѣхалъ какой-то господинъ.

— Проси.

Старикъ улыбнулся.

Дверь отворилась настежъ, и въ комнату вошелъ молодой человѣкъ пріятной наружности. Лицо его было полно и ру-

мяно; губы, хотя нѣсколько толстыя, были однакожъ красивы; волосы кудрявы; глаза полны огня; а носъ, немного вздернутый къ верху, придавалъ его лицу, особливо когда онъ говорилъ или улыбался, какое-то насмѣшливое, веселое выраженіе, которое очень къ нему шло. Онъ былъ въ двубортномъ черномъ сертукѣ, застегнутомъ сверху на одну пуговицу. Галстухъ былъ повязанъ небрежно. Въ лѣвой рукѣ онъ держалъ хлыстикъ и сѣрую шляпу.

Б*** обернулся, посмотрѣлъ на вошедшаго, и бросился въ его объятія.

— Жюль!

— Б***!

— Какъ я радъ!

— Здоровъ-ли?

— Откуда?

— Боже! . . .

— Давно-ли?

— О! . . .

— Разскажи.

— Дай еще себя обнять, налюбоваться.

— Жюль!

— Другъ мой! . . .

Наконецъ радость ихъ, которую можно бъ было вначалѣ сравнить съ бурнымъ, оглушающимъ, безпорядочнымъ потокомъ водопада, стала утихать . . . утихать . . . и потекла ручейкомъ. Они сдѣлались покойнѣе.

— Ну что, доволенъ ли ты своимъ путешествіемъ? спросилъ Б***, усаживая своего друга.

— Какъ нельзя болѣе.

Они опять обнялись.

— Но знаешь ли, началъ Б***, я очень часто на тебя сердился, даже ругалъ тебя.

— Хорошъ другъ.

— Разумѣется хорошъ. Да скажи самъ, не совѣстно ли тебѣ: ѣздить цѣлыхъ два года, и во все это время написать мнѣ не болѣе двухъ писемъ — и какихъ еще? самыхъ коротенькихъ! А лаконизмъ куда какъ несносенъ въ письмахъ тѣхъ, кого любишь.

— Но . . .

— Ни слова. Я уже все забылъ и прощаю тебя отъ чистаго сердца. Я надѣюсь впрочемъ, что теперь ты будешь

поразговорчивѣй и разскажешь мнѣ все, что̀ видѣлъ, чувствовалъ, испыталъ.

— Только съ тѣмъ, чтобъ изъ лаконниковъ не пожаловать меня въ болтуны.

— Теперь ты откуда?

— Прямо изъ Италіи.

— Ну что, понравилась ли тебѣ Италія?

— Нѣтъ Б***! путешественники не врутъ. Италія, Италія! кто тебя видѣлъ хотя однажды, тотъ уже никогда тебя не забудетъ. Еслибъ ты зналъ, какъ оно хорошо, это вѣчно-лазурное небо, эти померанцовые и лимонные лѣса, этотъ воздухъ растворенный благоуханіемъ, дышащій нѣгой; эти прогулки по берегу моря, оглашеннаго пѣснями гондольеровъ — и

особенно эти дѣвы, эти прекрасныя, эти пламенныя, эти черноокія дѣвы! Онѣ, кажется, уже съ самой колыбели начинаютъ понимать любовь, учатся любить; — и съ какою страстію, съ какою жгучею страстію онѣ любятъ! Да, только въ Италіи могутъ быть такія женщины, съ ихъ волканическою любовью, съ этими формами, очаровывающими глаза и чувства, проникнутыми сладострастіемъ. И я люблю Италію, люблю ее до безумія.

— Мечтатель!

— Но знаешь ли, я чуть было не расплатился жизнью за удовольствіе видѣть поэтическую родину Торквата.

— Какъ такъ? спросилъ вдругъ Б***, придвигаясь къ Жюлю и схвативъ его за руку, какъ-бы страшась его потерять.

— А вотъ видишь ли. Но быть-можетъ ты не расположенъ . . .

— Напротивъ. Ну . . . .

— Это было въ Римѣ. Какъ величественъ Римъ съ его памятниками, портиками, съ его развалинами и дворцами, съ его колоссальною по идеѣ и созданію церковью Петра и Павла! «Нынѣшній Римъ» сказалъ, кажется, какой-то путешественникъ, «походитъ на Царя, лишеннаго престола, но съ короною на головѣ.» Извини за отступленіе. Я никакъ не могу научиться порядочно разсказывать; но какъ не увлечься, когда вспомнишь про Римъ.

Я осматривалъ Катакомбы. Сколько думъ эти гробницы великихъ мужей Рима породили въ моей душѣ! . . . Прахъ ихъ давно истлѣлъ; но воспоминаніе дѣлъ

ихъ еще живо. Ихъ слава безсмертна! Прежде здѣсь находились также и гробницы Сципіоновъ, но потомъ онѣ были перенесены въ Ватиканъ. — Перебирая въ моемъ умѣ минувшіе дни славы Рима, и мечтая, какъ невозвратно проходитъ все великое, я шелъ погруженный въ задумчивость и почти наткнулся на какую-то женщину, всю въ черномъ. Она стояла, оперпись на гробницу Цециліи Метеллы, такъ же неподвижна, такъ же безмолвна, какъ и Катакомбы, насъ окружавшія. Я только видѣлъ ея руку; но какъ была прелестна эта ручка, какъ мала!... Шелестъ моихъ шаговъ заставилъ ее обернуться. О, другъ мой! Какъ ее описать? . . . Но видѣлъ ли ты когда нибудь Мадонну Рафаэля? — Это она! — Тихая грусть, начертанная на ея лицѣ, дѣлала ее еще привлекательнѣй . . . Я поклонился ей и, мнѣ кажется, довольно неловко. Она отвѣчала мнѣ легкимъ наклоненіемъ головы

и снова облокотилась на гробницу . . . .
Но я боюсь и не хочу тебѣ наскучить длиннымъ описаніемъ. Скажу тебѣ только, что мы послѣ того часто видѣлись съ нею въ одномъ домѣ. . . .

Мы познакомились. —

Я узналъ, что ее зовутъ Маріей. Не правда-ли прекрасное имя: *Марія!*... Шестилѣтнимъ ребенкомъ она лишилась своихъ родителей, и была воспитана въ какомъ-то монастырѣ. Одна старая тетка, которая только раза два пріѣзжала къ ней, и то, кажется, болѣе для того, чтобы поговорить съ игуменьею, нежели видѣться съ маленькою племянницею, платила за ея содержаніе. До совершеннолѣтія она не покидала оградъ монастыря; но теперь жила у тетки, которая въ это время была на богомольѣ въ Лоретто. На одномъ балѣ увидѣлъ Марію какой-то

Синьйоръ Джакомо, влюбился въ нее, и съ тѣхъ поръ началъ ее преслѣдовать своими угожденіями, любовью и даже ревностію; — и наконецъ, не смотря на то, что Марія всегда обходилась съ нимъ весьма холодно, сурово даже, просилъ ея руки. Ему было отказано; но Джако- все-таки не переставалъ увиваться около Маріи и, казалось, что ея холодность только раздувала въ его сердцѣ пламень любви.

— О Джуліо! сказала мнѣ однажды Марія, еслибъ ты зналъ, какой онъ нехорошій! Онъ хочетъ, чтобъ я его любила; но я не могу его любить, — я только боюсь его. Бояться и любить: можно ли это? . . . . Вотъ, напримѣръ, тебя я люблю; но я тебя не боюсь.

И она взглянула на меня и улыбнулась. Я не понимаю откуда женщины

берутъ такія улыбки, гдѣ онѣ учатся такъ улыбаться. — Въ чемъ бы я не повѣрилъ ей въ эту минуту?

— Но неужели, спросилъ я ее, его любовь и угожденія нисколько не были пріятны твоему самолюбію?

— Пріятна любовь того, котораго не любишь?

Она посмотрѣла на меня съ удивленіемъ.

— Какъ ты странно спрашиваешь, Джуліо. Да развѣ это возможно? . . .

— Почемужъ нѣтъ?

Она положила ко мнѣ на плечо свою ручку и сказала:

— Быть-можетъ, въ твоей Россіи женщины такъ думаютъ, но у насъ это совсѣмъ иначе: отъ того, котораго мы ненавидимъ, намъ все ненавистно. А когда мы любимъ? . . . Такъ развѣ можно за любовь платить ласкательствами — словами за чувства! . . . . Нѣтъ, за любовь, сердце проситъ любви и только одной любви! Что ей до остальнаго? Оно любитъ, оно любимо . . . .

— Ты меня любишь? спросила она вдругъ, устремивъ на меня свой испытующій взоръ . . . .

Я не понимаю, какъ я не упалъ къ ея ногамъ.

Быстро пролетѣли эти дни счастія! — Тетка Маріи возвратилась изъ Лоретто и мы уже не могли видѣться такъ часто какъ прежде. Мы рѣдко видѣлись, и то не

надолго; но намъ скоро надоѣли эти рѣдкія, краткія, урывчатыя свиданія: сердце просило болѣе; а кто, пока молодъ, отказываетъ сердцу? . . . . Она назначила мнѣ свиданіе. Въ полночь я долженъ былъ пробраться къ ея дому; съ балкона она хотѣла спустить веревочную лѣстницу. Какъ сильно билось мое сердце, когда я, закутанный въ плащъ, съ шляпою, нахлобученною на глаза, какъ bravi подкрадывался къ дому. Малѣйшій шумъ заставлялъ меня вздрагивать. Меня бросало то въ жаръ, то въ холодъ. То неизяснимое чувство радости почти захватывало у меня дыханіе, то опять непонятная тоска сжимала мое сердце . . . . Наконецъ я пришелъ. Я кашлянулъ: это былъ условленный знакъ. Все тихо. Я кашлянулъ еще разъ. Молчаніе продолжалось. Я встревожился; странныя мысли начали бродить въ моей головѣ. — Я кашлянулъ громче . . . Дверь на балконъ растворилась — что-то упало

мнѣ на голову: это была веревочная лѣстница. Тотъ, кто никогда не любилъ, никогда не крался на такое свиданіе, тотъ не пойметъ того восторга, той безумной радости, которую я ощутилъ, увидѣвъ лѣстницу.

Я упалъ въ объятія Маріи.

— Ben mio! Cuor mio! Anima mia! говорила она, ласкаясь ко мнѣ, наконецъ-то ты пришелъ.

— Неужели же ты думала, что я не приду?

— О нѣтъ, не то!... Но я сама не знаю, что я думала... Я только боялась, ужасно боялась. Но за то теперь я такъ счастлива. О, такъ счастлива, Джуліо! Мой добрый, мой милый, мой безцѣнный Джуліо!...

И она прыгала по комнатѣ, ласкала меня, снова прыгала, и снова принималась меня цѣловать.

Она была какъ ребенокъ; а я? . . . Но я былъ хуже ребенка: я себя не помнилъ.

Она сѣла на диванъ и посадила меня возлѣ себя.

— Вотъ, говорила она, съ дѣтскимъ радушіемъ указывая на столъ, покрытый различными фруктами, вареньями, пирожками, виномъ и проч. и проч. Это все я приготовила для тебя. Кушай, пей. Но я, я не могу, я не буду ѣсть, я только буду смотрѣть на тебя. Я такъ сыта! Хочешь, я спою что-нибудь; тебѣ будетъ веселѣе. Когда ты веселъ, и мнѣ такъ хорошо!... Дай мнѣ слово, Джуліо, что ты всегда будешь веселъ. Слышишь, ты никогда не долженъ

печалиться. Если я это увижу, я заплачу. Тебѣ станетъ жаль.... Кушайже! Чтожъ ты не кушаешь, Джуліо? . . .

Но могъ ли я ѣсть?

Я обвилъ около нея мою руку; голова Маріи опустилась на мое плечо, и ея дыханіе, казалось, проникало въ мое сердце... Жгучею лавою текла кровь по моимъ жиламъ . . . Голова кружилась. — Въ неистовствѣ я прижалъ Марію къ моей груди: она дрожала какъ испуганный ребенокъ... Слышно билось ея сердце — и мое. Не помню какъ, но уста наши встрѣтились.... у меня потемнѣло вь глазахъ... я только чувствовалъ, какъ уста мои горѣли отъ ея поцѣлуевъ.... вдругъ дикій хохотъ, какъ рычаніе тигра, раздался надъ нами. —

— Maledetto! прокричалъ ужасный голосъ, и чья-то рука, схвативъ меня, съ

гигантскою силою отбросила въ уголъ. Я съ неба упалъ на землю.

Я взглянулъ: смуглый, худощавый мущина стоялъ передъ Маріею и держалъ ея руку.

Она лежала безъ чувствъ.

То былъ Джакомо!

Признаюсь откровенно, я обробѣлъ. Я зналъ, что меня ожидаетъ смерть; а мнѣ такъ жалко было разставаться съ жизнію! Такъ молодъ — и уже умереть! Но ты знаешь, что я гордъ; а потому, не смотря на мою боязнь, я старался принять на себя видъ спокойствія и безстрашія. Сложивъ на груди руки, какъ Наполеонъ, я стоялъ и ждалъ.

Джакомо подошелъ ко мнѣ. Лице его

было блѣдно, искажено судорогами; губы дрожали; глаза свѣтились какъ уголь.

— Не правда ли, сказалъ онъ, вы на меня ужасно сердитесь, что я вамъ помѣшалъ? Поцѣлуи Маріи такъ сладки, а я вамъ помѣшалъ: какъ жалко! . . .

И взоры его, казалось, проникали въ мою душу. Онъ продолжалъ:

— Но я не люблю мистификацій. Я просто скажу вамъ, чего мнѣ хочется. Мнѣ хочется васъ убить.

Онъ остановился.

— Понимаете ли вы, что это значитъ: *я хочу васъ убить?* . . . Что жъ вы мнѣ не отвѣчаете? Мнѣ хотѣлось бы послушать, такъ ли же хорошо вы говорите, какъ цѣлуетесь. Ну, Signor!

Я хотѣлъ отвѣчать и не могъ. Мнѣ казалось, что языкъ мой приросъ къ гортани. —

Джакомо ждалъ отвѣта.

— Скоро ли? сказалъ онъ, теряя терпѣніе. —

Повѣришь ли, что я только съ величайшимъ усиліемъ могъ пробормотать:

— Но какое имѣете вы право располагать моею жизнію?

— Право сильнаго! — отвѣчалъ Джакомо, приподнявъ голову.

Онъ выхватилъ кинжалъ и началъ имъ размахивать.

Меня морозъ подралъ по кожѣ. Я

чувствовалъ, какъ кровь застывала въ моихъ жилахъ. О, это ужасно: кинжалъ въ рукѣ ревниваго Италіанца! Я не могъ свести глазъ съ кинжала.

— Комедія наша — проговорилъ наконецъ Джакомо, какъ бы насытясь моими мученіями, подойдя ко мнѣ ближе — продолжается слишкомъ долго: пора приступить къ развязкѣ.

И что-то свиснуло: онъ занесъ кинжалъ.

Я поблѣднѣлъ, но продолжалъ твердо смотрѣть на злобнаго убійцу.

Въ это время очнулась Марія, и увидя Джакомо, готоваго меня поразить, она блѣдная, отчаянная, бросилась къ его ногамъ, обвила ихъ своими руками и про-

изнесла жалобнымъ, раздирающимъ душу голосомъ:

— Джакомо!

Джакомо вздрогнулъ. Рука его опустилась.

— Джакомо, продолжала Марія, ломая руки, если тебѣ нужна кровь, возьми Марію, убей бѣдную Марію; — но оставь его, пусть онъ живетъ, Джакомо! . . .

— Убить тебя?.... спросилъ онъ съ горькою насмѣшкою. Ребенокъ, вѣдь это больно.

— Знаю, знаю.

— Очень больно. Ты закричишь, дитя!

— О, нѣтъ!

И она простирала къ нему свои полныя, прекрасныя руки, устремляла на него свой слезящій, умоляющій взоръ.

Джакомо отвернулся.

— Марія, сказалъ онъ помолчавъ: — еслибъ я пришелъ нѣсколько позже, я бы убилъ васъ обоихъ; ma grazia alla Santa Madre di Dio! я поспѣлъ во-время — и только онъ одинъ долженъ умереть.

Я опомнился.

— Джакомо, сказалъ я, до глубины души тронутый великодушной любовью Маріи: я готовъ! . . . Прости Марія! Не проси обо мнѣ, tenerina mia. Если бъ онъ убилъ тебя и возвратилъ мнѣ свободу — я бы бросился въ Тибръ. Чтò мнѣ жизнь безъ Маріи!

— А! . . .

Глаза Маріи вспыхнули на мгновеніе. Она бросила на меня одинъ изъ тѣхъ взглядовъ, которымъ такъ много умѣютъ сказать женщины. Потомъ голова ея упала на грудь; губы зашевелились; грудь ея колыхалась, какъ волны моря во время бури. — Марія молилась.

Джакомо обернулся ко мнѣ.

— Signor! сказалъ онъ съ сардоническою улыбкою, рыбамъ Тибра и безъ васъ довольно пищи; предоставьте это нашимъ lazzaroni. Смерть отъ моей руки вѣрнѣе. Я ни кому не уступаю моего мщенія! . . .

Марія встала, подошла къ Джакомо;— но ты уже не узналъ бы въ ней прежней, умоляющей, отчаянной Маріи. О, это была

совсѣмъ не та женщина. Та была слабая раба; а эта — гордая Царица.

— Джакомо, сказала она, вы говорили мнѣ, что меня любите; просили у меня моей руки — я вамъ отказала.

Она взглянула на меня. Голосъ ея задрожалъ.

— Отпустите Джуліо и — я ваша!

Я стоялъ, какъ пораженный громомъ.

Лице Джакомо на минуту просіяло радостію, и тамъ опять сдѣлалось грознымъ и мрачнымъ.

— Марія, я дарю ему жизнь. Но если ты меня обманешь, знай, — клянусь моимъ патрономъ Св. Джакомо! — кинжалъ мой всегда отыщетъ путь къ его сердцу.

— Нѣтъ, скорѣе смерть! закричалъ я, и хотѣлъ броситься къ Маріи. Джакомо меня удержалъ.

— Прочь!

Марія обратила ко мнѣ свои глаза, вздохнула, приложила руку къ своему сердцу и чуть слышно пролепетала:

— Addio! . . .

Потомъ отвернулась. Ея рука лежала въ рукѣ Джакомо. Мнѣ показалось, что онъ смѣялся.

Недѣлю спустя, Марія была уже его женою.

— Божественная женщина! воскликнулъ Б***. Ну, а ты? . . .

— Я? . . . я сперва былъ въ отчаяніи; а тамъ . . .

— А тамъ?

— Влюбился въ другую.

Б*** взялъ со стола книгу и началъ ее перелистывать.

— Ты не любилъ.

— О, и какъ!

— Но какъ же это: любить, и опять полюбить?

— Что любовь? Цвѣтокъ. Онъ рождается, цвѣтетъ и увядаетъ. Другой заступаетъ его мѣсто, и того ждетъ таже участь. Вини не меня: я не Создатель.

— Странная философія! . . . Но скажи мнѣ, по-крайней-мѣрѣ, какимъ образомъ Джакомо могъ попасть къ вамъ?

— Мы позабыли убрать лѣстницу, и то, что служило мнѣ, помогло и ему.

— Еще одно: объясни мнѣ Джакомо. Я не могу понять Джакомо. Какое ему было дѣло до Маріи? она вѣдь его не любила. Насильно милъ не будешь.

— А ревность? Развѣ ты за ничто считаешь ревность? . . .

— Признаюсь, ревность для меня тоже, что Египетскіе іероглифы для оріенталистовъ.

— Спасибо за сравненіе. Полюбишь и поймешь.

— Не думаю . . .

Они стали завтракать.

— Но хорошъ я, сказалъ Жюль, доѣвъ паштетъ, и утирая ротъ салфеткою. Я ѣмъ, пью, разсказываю; а и не спрошу о твоемъ здоровьѣ. Но какъ ты блѣденъ! Боже, и я до-сихъ-поръ этого не замѣтилъ. Прости меня. Но радость свиданія . . . . моя вѣтренность . . . . скажи, что это съ тобою? Какъ ты похудѣлъ. Бѣдненькой! ты боленъ? . . .

— Я лишился матушки, отвѣчалъ со вздохомъ Б***, и облако печали покрыло его лице.

— Вполнѣ понимаю твое уныніе, проговорилъ Жюль, взявъ руку своего друга, и смотря на него съ участіемъ. Потерять мать, и особенно такую добрую, какую

имѣлъ ты, не бездѣлица. Но не должно слишкомъ предаваться своему горю. Это, пожалуй, и тебя сведетъ въ могилу. Чего добраго? Но ты вѣрно выходишь, прогуливаешся, посѣщаешь своихъ знакомыхъ?...

— Я никуда не хожу.

— Возможно ли? Но этакъ . . . послушай, я это беру на себя: тебя должно развлечь.

— Развлечь? спросилъ съ грустною улыбкою Б***. Развѣ можно развлечь сына, потерявшаго мать?

Жюль съ чувствомъ пожалъ руку своего друга.

— Любишь ли ты меня? спросилъ вдругъ Жюль, взявъ Б*** за обѣ руки, и смотря ему прямо въ глаза.

— Разумѣется, люблю.

— Тѣмъ, которыхъ любятъ, не отказываютъ . . . .

— По-крайней-мѣрѣ, неохотно.

— Но, вотъ видишь-ли, я тебѣ не вѣрю, что ты меня любишь. Не вѣрю на-слово — я требую доказательствъ твоей любви . . .

— Скажи только, чѣмъ ее доказать тебѣ — и ты увидишь.

— А вотъ чѣмъ, сказалъ Жюль, обнимая Б***: пойдемъ со мною.

Б*** взглянулъ на своего друга съ удивленіемъ и покачалъ головою.

— Все я готовъ сдѣлать для тебя, от-

вѣчалъ онъ, но этого не могу. Требуй другихъ доказательствъ.

— Ты меня не любишь.

— Люблю ли я тебя?... Жюль, ты это сказалъ не отъ чистаго сердца. И что тебѣ за радость въ моемъ постномъ лицѣ? Я только буду мѣшать тебѣ веселиться. Не проси меня.

— Я думалъ имѣть въ тебѣ друга, сказалъ Жюль, принявъ на себя видъ обиженнаго. Вижу, что ошибался. Мнѣ горька эта истина; но что же дѣлать? Это не первая и, вѣрно, не послѣдняя утрата. Помнишь ли, ты сказалъ сегодня: насильно милъ не будешь. Прощай! Мы не увидимся. — А я тебя такъ любилъ.

Жюль схватилъ шляпу и хотѣлъ идти.

— Послушай, проговорилъ Б*** въ нерѣшимости, дай мнѣ, по-крайней-мѣрѣ, честное слово, что впередъ ты не станешь меня просить. То, что я дѣлаю теперь.... Ты даешь слово?

— Изволь. Я этого никогда не забуду. Зная твои чувства, я понимаю, какъ много ты для меня дѣлаешь. Благодарю тебя.

Они пошли.

Прошло нѣкоторое время, и Б*** сдѣлался веселъ по-прежнему. Въ вихрѣ свѣта, въ шумѣ баловъ и прогулокъ онъ скоро забылъ о своей матери. — Любимый всѣми женщинами, не любя ни одной хорошенько, Б***, свободный сердцемъ, отъ одного наслажденія переходилъ къ другому; одно удовольствіе мѣнялъ на

удовольствіе другое. Ему нѣкогда было грустить.

Какъ часто мы укоряемъ бѣдную фортуну въ непостоянствѣ; — а мы сами развѣ постояннѣй? . . .

Но Жюлю не сидѣлось на мѣстѣ. Ему скоро прискучили и Петербургъ и Петербургская жизнь. Его душа опять рвалась въ Италію, во Францію, подъ другое небо. — Б*** поѣхалъ съ нимъ. Б*** любовался Дрезденской Галлереей; апплодировалъ въ Берлинскомъ театрѣ; гулялъ по Пратеру Вѣнцевъ; карабкался на Альпы; былъ въ восторгѣ отъ всѣхъ чудесъ Италіи (энтузіазмъ, какъ любовь и ненависть, имѣетъ на предметы взглядъ нѣсколько односторонній); отправился во Францію; и вотъ уже около двухъ лѣтъ не могъ разстаться съ Парижемъ; но отчего ему было и не оставаться въ Парижѣ, когда тамъ все его

удерживало, а ничто не звало назадъ. — Любовь къ родинѣ, — можетъ-быть, скажете вы; но два года еще не много, и *онъ могъ ѣхать, когда хотѣлъ.* Ктому-же онъ, какъ и бо̀льшая часть его *образованныхъ* соотечественниковъ, былъ небольшой космополитъ, хотя и не подражалъ имъ во всемъ: онъ искренно любилъ Россію, не смѣшилъ неумѣньемъ говорить по-Русски: ему нечего было краснѣть! —

III.

Б А Л Ъ.

Per divina bellezza indarno mira,
    Chi gli occhi di costei giammai non vide,
    Come soavemente ella li gira.
Non sa, com' Amor sana e come ancide,
    Chi non sa, come dolce ella sospira,
    E come dolce parla , e dolce ride.

— Petrarca. *Sonetto.* —

Aimer est un destin charmant,
C'est un bonheur qui nous enivre
Et qui produit l'enchantement.

— Parny. *Elegie.* —

III.

Маркиза Роганъ давала балъ. На этотъ-то балъ и торопился Б***. Маркиза, хотя ей и было уже лѣтъ за тридцать, хотя она и имѣла довольно взрослую дочку въ монастырѣ, сохранила однакожь еще всю свою красоту, удержала всю свою жи-

вость въ разговорахъ и движеніяхъ; а когда она улыбалась — парирую сто червонцевъ противъ пары изношенныхъ башмаковъ старой кухарки — никому бы не пришло въ голову сказать, что ей болѣе двадцати пяти лѣтъ отъ роду. По-этому никто и не удивится, если я скажу, что она была окружена толпою обожателей. — Одинъ только Б*** не старался ей нравиться и, можетъ-быть, именно потому и понравился Маркизѣ. Это ни для кого не было тайной: Маркиза была очень откровенна! но Б***, казалось, не замѣчалъ ея къ нему расположенія. — Онъ тогда любилъ Эмили; но теперь Эмили ему надоѣла, такъ надоѣла . . . Маркиза начала ему правиться.

Онъ ѣхалъ къ Маркизѣ.

Прислонившись головою къ шелковой, эластической подушкѣ кареты, сидѣлъ

онъ и думалъ . . . ну, разумѣется, о чемъ обыкновенно думаютъ молодые люди, когда они ѣдутъ на балъ. Впрочемъ думы его ни сколько ему не мѣшали смотрѣть на ногти, поправлять прическу и даже зѣвать. Но онъ вѣрно думалъ о чемъ-то очень пріятномъ, потому что улыбался весело; а вѣдь кажется весело улыбаются только пріятному. Онъ думалъ . . . . Но вотъ видите, я помню, что, когда я еще былъ маленькимъ, маменька мнѣ сказывала, что скромность большая добродѣтель въ молодомъ человѣкѣ. Я хочу быть добродѣтельнымъ молодымъ человѣкомъ!— «*У какой!*» говорите вы. Но не правда ли прекрасныя читательницы, вы разсердились не надолго? Вы слишкомъ милы, чтобъ долго сердиться и слишкомъ умны, чтобъ не знать, какъ досада не пристала къ прелестному личику. Вы не сердитесь?...

Онъ думалъ . . . . но вдругъ карета

остановилась, и прхъ! . . . вылетѣли мечты въ окно и разлетѣлись, какъ обыкновенно разлетаются всѣ наши мечты и всѣ наши надежды. Вы знаете по-Латыни: Vanitas vanitatum et omnia vanitas?

Б*** вошелъ въ переднюю. Вдали гремѣла музыка. — Шумъ, говоръ, бѣготня! — Все хлопотало, все суетилось. Цѣлыми кучами лежали плащи и салопы. Вся передняя кипѣла ливреями красными, синими, желтыми, зелеными, голубыми, обшитыми базонами, галунами . . . . Передняя также имѣетъ свою поэзію. Немножко дикую, немножко безпорядочную — это правда; но развѣ все то, что дико и безпорядочно — худо?

Б*** въ залѣ.

Вотъ одному онъ что-то шепнулъ на ухо; другому улыбнулся; у третьяго спро-

силъ о здоровьѣ и, не дождавшись отвѣта, толковалъ уже съ четвертымъ о ножкахъ Taglioni.

— О, говорилъ онъ, приподнявъ нѣсколько плечи и голову, еслибъ вы ее видѣли вчерась? Какъ она была хороша! Какая неподражаемая граціозность во всѣхъ ея движеніяхъ! Какая быстрота и легкость въ выдѣлываніи самыхъ труднѣйшихъ па! Это настоящая Сильфида! Словомъ: она восхитила всѣхъ, и театръ дрожалъ отъ рукоплесканій. Я бы озолотилъ ея ножки!

— Узнаешь ли меня, восторженный панегиристъ? спросилъ улыбаясь какой-то молодой человѣкъ, подойдя къ Б***, и ударивъ его тихонько по плечу.

Б*** оглянулся.

— А, это ты Жюль?

— Къ вашимъ услугамъ.

— Скажи: зачѣмъ ты небылъ у меня въ прошедшую пятницу? Еслибъ ты зналъ, какъ мы веселились?

— Mon cher, я не могъ. Видитъ Богъ, не могъ. Это длинная исторія. Я все разскажу тебѣ, и ты меня вѣрно простишь.

— О, я вовсе не такъ добръ, какъ твоя Аталія, которая вѣритъ всему, что тебѣ ни вздумается ей сказать . . .

— Но съ чего ты берешь . . .

— Я не слѣпъ, мой милый. Да увѣрься же ради Бога, что скромность пристала только дѣвушкамъ, и то молоденькимъ. — Странная прихоть, хотѣть отри-

цать то, что всѣ видятъ и въ чемъ никто не сомнѣвается.

— Увѣряю тебя . . . .

— О невинненькій! какой ты пай. Хочешь конфектовъ? . . .

— Ты несносенъ.

— Виноватъ, виноватъ! я было и позабылъ, что правда глаза колетъ, хотя поэты и изображаютъ истину прекрасною нагою женщиною. —

— Неужели ты думаешь, что у меня терпѣніе Іова?

— Совсѣмъ нѣтъ, потому что у Іова было необыкновенное терпѣніе.

— Чудакъ! . . . Но оставимъ это; по-

смотри-ка лучше на эту молоденькую даму — вонъ на ту, что сидитъ возлѣ толстой Президентши въ токѣ съ бѣлымъ строусовымъ перомъ. Какова?

Б*** навелъ лорнетъ.

— И эта тебѣ нравится, сказалъ онъ послѣ короткаго экзамена. Ты вѣрно шутишь. Лице круглинькое, полное и румяное, какъ наливное яблочко, но безъ всякаго выраженія. Какая вялость въ движеніяхъ; — нѣтъ жизни! Elle est du dernier bourgeois!

— Ты несправедливъ, она мнѣ очень нравится.

— Желаю счастія.

Заиграли Французскій кадриль. Б*** опять схватилъ лорнетъ, чтобы, съ помо-

щію его, отыскать партнерку *по себѣ.* И какъ мотылекъ отъ одного цвѣтка перепархиваетъ на другой, такъ и его глаза скользили отъ одного личика къ другому... Но на что это онъ вдругъ сталъ глядѣть такъ пристально, — такъ *долго* глядѣть? Что это онъ стоитъ какъ очарованный? Съ нимъ говорятъ, зовутъ его; а онъ ничего не слышитъ — и глядитъ.

Посмотрите на его лице.

Не кажется-ли вамъ, что всѣ его чувства перешли въ его глаза; что онъ весь въ глазахъ? . . .

Приложите руку вашу къ его груди, къ его сердцу. Слышите-ли, какъ оно бьется?

Отчего?

Онъ увидѣлъ Адель . . . . ту милую, очаровательную Адель, которую вы всѣ такъ любите; которой вы всѣ такъ стараетесь понравиться и такъ охотно бы понравились; по-этому мудрено-ли, что пылкій Б***, увидѣвъ Адель, видѣлъ только ее, дышалъ только ею? . . .

Онъ влюбился по уши.

Вы этому не вѣрите? — Вамъ кажется невѣроятнымъ это мгновенное сочетаніе двухъ душъ въ одну душу? Это сліяніе всѣхъ чувствъ въ одно чувство любви, чистой, святой, невыразимой?.... Это непреоборимое влеченіе сердца къ сердцу родному? Этотъ внутренній голосъ, который говоритъ вамъ, кричитъ вамъ: вотъ онъ! вотъ она! . . .

Вы этому не вѣрите, скептики? — Да чему вы вѣрите! . . .

Не вѣрятъ! . . . А вѣдь были же люди, которые вѣрили, что пирамиды древнѣй потопа? * —

Онъ ее любилъ; она его любила.

Смотрите, какъ при каждомъ его словѣ, яркій пурпуръ покрываетъ щечки Адели, и длинныя рѣсницы ея опускаются, и ручки дрожатъ . . . Не правда ли, что, танцуя съ нимъ, она какъ-будто летаетъ, и какое-то веселье, неописанно-милое, неземное, разливается по ангельскому личику, — горитъ въ ея очахъ... и выше . . . все выше подымается грудь дѣвушки, какъ-бы сжатая чѣмъ-то томительнымъ; какъ-бы переполненное чѣмъ-то невыносимо-пріятнымъ! . . . . А онъ? . . .

*) Это утверждалъ одинъ Англичанинъ; а говорятъ, что Англичане люди разсудительные.

О, онъ блаженствовалъ! . . .

И какъ она была хороша, какъ очаровательна съ ея цвѣточкомъ на головѣ, въ ея бѣломъ, полувоздушномъ, полупрозрачномъ бальномъ платьицѣ; въ ея крошечныхъ гроденаплевыхъ башмачкахъ; съ ея газовымъ эшарпомъ, который, какъ легкій туманъ лѣтняго утра, такъ завистливо обвивался около ея шейки, самой полненькой, самой бѣленькой шейки!... Какъ бы не засмотрѣлись вы на это личико, дышащее удовольствіемъ, юностію и невинностію? На эти глаза, такъ выразительно говорящіе прямо къ сердцу отъ ея сердца? На эту грудь, слишкомъ прелестную для уподобленія? На эти пышные, полные, душистые локоны, такою роскошною волною стекающіе съ головы и упадающіе на грудь, какъ-бы умирая отъ нѣги и блаженства? . . . Чего бы не дали вы, чтобы хоть разъ коснуться ея

губокъ; хоть минуточку попить ея дыханіе; сорвать только одинъ поцѣлуй, только одинъ! . . . О, за такое блаженство, я бы даже жизнью поплатился! . . .

Танцовали Французскую кадриль. —

— Посмотрите ради Бога, говорилъ Б*** Адели, на эту бѣдную Графиню Д — чи! Какъ она смѣшна въ своемъ богатомъ бальномъ платьѣ! Какъ худо скрыты ея морщины подъ этими бѣлилами и румянами, за которыя она вѣрно заплатила такъ дорого! Неправда ли, что эти пышные цвѣты на ея головѣ и груди выставляютъ еще отвратительнѣй ея давно увядшія прелести, кажется, дѣлаютъ ее еще старѣе. Какъ она кривляется, думая, что это ей къ лицу; и какъ сердится на бѣдныхъ кавалеровъ за то, что каждый изъ нихъ готовъ охотнѣй перенесть любую пытку, нежели быть ея партнеромъ.

— Вашъ туръ! сказалъ кто-то изъ танцующихъ.

Фигура была скоро кончена. Они опять сѣли.

— О, я такъ золъ на Графиню!

— Я ни на кого не сержусь, произнесла тихо Адель.

— Да скажите, можно-ли не сердиться, подхватилъ Б***, смотря выразительно на Адель, когда я знаю, что она готова выгнать отсюда всѣхъ миленькихъ, всѣхъ хорошенькихъ, чтобы самой сдѣлаться царицей бала. Ну, скажите сами, не злость ли это?

— Если не ваша выдумка.

— Выдумка? и вы думаете, что я стану васъ обманывать? . . .

Онъ положилъ руку на сердце: лице его было серіозно, глаза пылали.

— Никогда!

— Я вамъ логически докажу справедливость моихъ словъ, продолжалъ онъ, снова принявъ на себя видъ безпечности. Я знаю, что она отдала бы все на свѣтѣ, чтобъ воротить свою молодость, опять похорошѣть. То и другое невозможно. Остается одно только, чтобъ не казаться слишкомъ старою, слишкомъ нехорошею, — это изгнать изъ общества всѣхъ тѣхъ, которыя моложе и лучше. Тогда у Графини достало бы самолюбія вообразить, что она и молода и прелестна. Жаль, что силы нѣтъ.

— Вы ужъ слишкомъ жестоки! сказала Адель голосомъ укоризны. Я напротивъ слышала о Графинѣ много хорошаго. Всѣ хвалятъ ея умъ, ея познанія. Говорятъ, она чрезвычайно добра.

— Объ умѣ ея ни слова. Въ ея молодости всѣ были отъ него безъ ума. Но желать побѣдъ еще теперь, въ ея лѣта, — право смѣшно; и тѣмъ непростительнѣй, что она умна. —

— Но не благороднѣй ли, скажите сами, не замѣчать недостатковъ ближняго, нежели подымать его на смѣхъ?

— Не противорѣчу, потому-что совершенно согласенъ съ вами, но бываютъ случаи . . . Вотъ посмотрите напримѣръ, на этого господина, что тамъ у окна, не смѣшонъ ли онъ?

— Нисколько.

— Какъ?

— Онъ мнѣ кажется точно такимъ же, какъ и всѣ другіе.

— Ну, да вотъ примѣтьте, какъ нѣжно онъ посматриваетъ на право и на лѣво, и въ каждой насмѣшливой улыбкѣ думаетъ видѣть улыбку любви. Это pendant Графинѣ. Не страненъ ли онъ съ его фракомъ, сшитымъ, Богъ вѣсть, по какому журналу; съ его пестрымъ жилетомъ, похожимъ на вывѣску мѣлочной лавки; съ его бѣлымъ, накрахмаленнымъ, ужасно-высокимъ галстукомъ; съ его прической à l'incroyable; съ его краснымъ носомъ, усѣяннымъ табакомъ и еще чѣмъ-то? . . . Увѣряю васъ, что онъ, безъ всякой иперболы, походитъ на Индѣйскаго пѣтуха. Oh, le beau dindon!

Б*** захохоталъ.

Адель ничего не отвѣчала, она только потупилась и покраснѣла: она была такъ добра. Ей было такъ больно, что онъ насмѣхался . . . Но мало-по-малу она начала привыкать къ его насмѣшкамъ; не краснѣла уже при его выходкахъ; начала улыбаться на его шутки; даже начала *шутить* сама! . . .

Б*** и не подумалъ о Маркизѣ. Итогомъ всѣхъ его чувствъ, всѣхъ его мыслей — была Адель.

Какъ онъ ее любилъ! Какъ горячо, какъ пламенно, какъ бѣшено онъ любилъ! Какъ всѣ другія женщины ему не нравились! . . . Да, онъ начиналъ только жить теперь. До-этихъ-поръ онъ не жилъ, не чувствовалъ. Правда, онъ любилъ и прежде; но какъ холодна, какъ ничтожна бы-

ла та любовь, въ сравненіи съ чувствомъ, наполнявшимъ теперь его душу. Какъ сердился онъ, что любилъ прежде, что говорилъ другимъ: люблю тебя! . . . . Какъ онъ лгалъ тогда, какъ безсовѣстно лгалъ. Онъ любилъ только Адель. Онъ никого не любилъ прежде Адели. Онъ обманывалъ другихъ, обманывалъ самаго себя . . . а теперь? — О теперь! . . . Онъ не могъ жить безъ Адели; онъ долженъ былъ видѣть ее каждый день — безпрестанно . . . . Но онъ не былъ вхожъ къ *нимъ*; онъ видѣлъ Адель въ первый разъ. Оставалось одно средство: познакомиться съ ея отцомъ. Онъ познакомился.

Генералъ С., отецъ Адели, былъ человѣкъ высокаго роста; въ молодости онъ казался выше, но это оттого, что онъ теперь ходилъ немного нагнувшись впередъ. Его глаза, глубоко впалые и обведенные двумя коричневатыми кругами,

ничего не утратили отъ своей прежней живости, они напротивъ того, казалось, пылали еще сильнѣе изъ подъ густыхъ, нѣсколько насупившихся бровей. Лице его было одно изъ тѣхъ лицъ, которыя вамъ такъ нравятся какою-то мужественною выразительностію, нравятся не-хотя. Увидѣвъ его, вы не скажете: — «какъ оно прекрасно!»— Но вы невольно воскликнете: — «какъ выразительно!» — Онъ имѣлъ умъ весьма образованный и былъ необыкновенно любезенъ, особенно съ дамами. Не смотря на то, что волосы его уже начали примѣтно сѣдѣть, онъ любилъ еще нравиться . . . . кому любятъ нравиться мущины? . . . Но все это портила одна слабость, слабость несносная! Онъ былъ деспотъ въ своихъ мнѣніяхъ. Политика была его страсть. Политическіе журналы онъ почти не выпускалъ изъ рукъ. Онъ любилъ разсуждать о всемъ и весьма часто судилъ довольно несправедливо; но

горе тому, кто бы вздумалъ ему противорѣчить. Такой человѣкъ, по его мнѣнію, былъ человѣкомъ потерянным . . . профаномъ. Когда говорили о такихъ людяхъ, онъ молчалъ и только пожималъ плечами, съ какою-то странною ужимкою, выражавшею что-то странное.

Все это Б*** узналъ отъ Жюля и, разумѣется, умѣлъ этимъ воспользоваться. Пробравшись къ Генералу, онъ началъ разговоръ тѣми незначущими фразами, которыя такъ употребительны въ гостиныхъ. Потомъ, какъ-бы случайно, былъ сдѣланъ скачекъ на Испанскую войну. Первый шагъ былъ сдѣланъ. Б*** почти не сомнѣвался въ успѣхѣ. Хотя и вѣтреный сердцемъ, онъ былъ однакожь одаренъ отъ природы умомъ основательнымъ и быстрымъ, а потому и замѣчалъ каждый разъ промахи, дѣлаемые Генераломъ; но, разумѣется, замѣчалъ ихъ только про

себя. Все, что нравилось Генералу, было превосходно; — что не нравилось . . . . Послушали-бы вы, какъ Б*** нападалъ на то, что ненравилось Генералу. За то ужъ и старый ветеранъ былъ имъ совершенно обвороженъ; не слышалъ въ немъ души.

Но они чуть-чуть было не поссорились. Послушайте, какъ это случилось:

— Скажите мнѣ, спросилъ вдругъ Генералъ, взглянувъ ласково на Б***, что вы думаете о Ганнибалѣ?

— Съ тѣхъ поръ, какъ я началъ понимать, что такое Ганнибалъ, онъ сдѣлался моимъ героемъ, моимъ идеаломъ полководца!

— Право? А я такъ напротивъ того думаю, что онъ болѣе всего былъ обязанъ своему счастію и ошибкамъ своихъ противниковъ.

— Но развѣ Фабій не былъ достойнымъ противникомъ Ганнибала?

— Сущій Австріецъ.

— Насмѣшка не доказательство, сказалъ кто-то Вольтеру.

— Я никогда не говорилъ такъ серіозно. Выслушайте меня: отнюдь не думая отнимать у Фабія его достоинствъ, я только упрекаю его за эту нерѣшительность, которая, по моему мнѣнію, съ родни трусости.

— Не мѣшало, кажется, если-бъ Субизъ нѣсколько потрусилъ à la Fabius. Фабій доказалъ, что онъ понялъ Ганнибала; что только онъ одинъ могъ быть ему противопоставленъ. Зная, что побѣда въ открытомъ сраженіи невозможна, или, покрайней-мѣрѣ, очень сомнительна, онъ

берегъ свои силы; онъ, можетъ-быть, предвидѣлъ все то, что случилось послѣ: онъ зналъ Кароагенъ. Утомляя Ганнибала безпрестанными переходами, стараясь, гдѣ только можно, его окружить, онъ вѣрно побѣдилъ бы своего врага, еслибъ этотъ врагъ не былъ Ганнибаломъ. Но Фабій былъ только великимъ человѣкомъ, а Ганнибалъ былъ болѣе: — онъ былъ Геній!... Верхъ искуства, говорилъ Наполеонъ, заключается въ томъ, чтобъ знать своего противника, его средства, его солдатъ.

— Все такъ. Да, если бъ Ганнибалъ не имѣлъ завистниковъ въ Кароагенѣ, тогда бы я первый похвалилъ Фабія; но тутъ онъ командовалъ Римлянами, до того всегда побѣждавшими, — Римлянами, которые должны были сражаться за свою родину, стоять за свой Римъ, за свой Капитолій, — и онъ избѣгалъ битвы. Правда, Ганнибалъ разбивалъ всѣхъ другихъ

полководцевъ ; но это развѣ могло удержать Фабія, такъ далеко ихъ превышавшаго своими дарованіями? Ergo, онъ не долженъ былъ избѣгать боя.

— Чтобъ подвергнуться участи Фламиніевъ и Варроновъ?

— Нѣтъ, чтобъ побѣдить!

Глаза Б*** вспыхнули.

— Повѣрьте мнѣ, Генералъ, если-бъ Кунктаторъ могъ надѣяться побѣдить, Фабій бы не медлилъ.

— Но Жомини . . . .

— Былъ генераломъ Бонапарта.

Генералъ С. замолчалъ.

— Но, по-крайней-мѣрѣ, сказалъ онъ потомъ, вы позволите мнѣ отдать преимущество Сципіону?

— Тысячу извиненій, что я и тутъ, какъ народный трибунъ, скажу мое безжалостное: Veto!

— Еще одинъ вопросъ: а кто былъ побѣдителемъ на поляхъ Замы?

— Никогда бы имъ не былъ Сципіонъ, если-бъ Ганнибалъ могъ дѣлать, что хотѣлъ. Знаете, что сказалъ нашъ герой Суворовъ, когда его спросили: почему, онъ думаетъ, Ганнибалъ былъ побѣжденъ въ Африкѣ? — «Оттого,» отвѣчалъ онъ, «что въ Карѳагенѣ былъ Гофкригсратъ.»— Римляне, имѣя предводителемъ человѣка, котораго они обожали, которому вѣрили какъ своимъ авгурамъ, дышали местью за свое отечество: это все были солдаты,

такъ сказать, *вышколенные* побѣдами Ганнибала, какъ при Петрѣ Великомъ, Карлъ, поражая Русскихъ, на свою шею научилъ насъ, какъ его побѣждать. — А Ганнибалъ, имѣя войско, состоящее изъ наемниковъ, набранное изъ народовъ совершенно чуждыхъ другъ другу; — войско, которому онъ еще не успѣлъ внушить довѣрія къ себѣ *, составляющаго ту нравственную силу, которая дѣлаетъ солдата непобѣдимымъ, — и чтоже Ганнибалъ? Онъ началъ подражать Фабію, хотѣлъ пріучить солдатъ своихъ небольшими стычками одерживать большія побѣды, какъ дѣлали, по разсказамъ Тита Ливія, всѣ почти Римскіе Консулы и Диктаторы передъ каждымъ сраженіемъ.

* Знаю, что Ганнибалъ привелъ съ собою изъ Италіи своихъ ветерановъ; но эти ветераны *были* въ Капуѣ! И однакожъ, не смотря на все это, я смѣло предоставляю читателю рѣшить: еслибъ все войско Карѳагена походило на нихъ — побѣдили-ли бы Римляне? Только не вѣрьте слѣпо Титу Ливію. Титъ Ливій не любилъ Ганнибала.

Цѣлью Ганнибала вѣрно было не одно изнуреніе силъ противника, но, можетъ-быть, и желаніе прекратить всѣ сообщенія его съ Римомъ. Что бы было тогда? . . . Я не знаю всѣхъ замысловъ великаго побѣдителя при Каннахъ; но готовъ прозакладовать мою голову, мою честь, что, еслибы Ганнибалъ могъ дѣйствовать, какъ хотѣлъ, никогда Сципіонъ не назывался-бъ *Африканскимъ!* — Но ему было приказано сенатомъ дать сраженіе и . . . . нѣтъ, онъ не былъ побѣжденъ, только войско Кароагена было разбито! . . . . Спрашиваю, еслибы вашему Моро̀, вмѣсто того, чтобы позволить ему совершить то отступленіе за Рейнъ, которое покрыло его неувядаемою славою, было велѣно идти впередъ; — думаете-ли вы, чтобъ таже слава была его удѣломъ?...

Горячность Б*** заставила его сказать гораздо болѣе, нежели сколько онъ

хотѣлъ-бы. Восторженность, съ которою онъ любилъ Ганнибала, увлекла его. Мимо его прошла Адель. Б*** опомнился, и съ ужасомъ увидѣлъ холодное, суровое, какъ Петербургская осень, лице Генерала.

— Mon Général, сказалъ Б***, улыбаясь, и какъ возможно ласковѣе, это было до-сихъ-поръ мое мнѣніе, моя мысль, моя мечта. Вамъ теперь рѣшить: правъ-ли я, или нѣтъ? Я молодъ — это вѣрно извинитъ въ глазахъ вашихъ и мою неопытность, и мою горячность. Я жду моего приговора отъ одного изъ героевъ Франціи.

Боже мой, какія рыбки не попадаются на удочку самолюбія? Волшебная удочка!

Генералу показался Б*** необыкно-

венно умнымъ, необыкновенно любезнымъ. Они еще долго разговаривали.

— Ваши посѣщенія, сказалъ онъ ему наконецъ, съ жаромъ пожимая его руку, будутъ мнѣ всегда очень пріятны. Вотъ мой адрессъ. Завтра я все утро дома.

Б*** пробормоталъ что-то о чести, о благодарности . . . но кто возмется описать его восхищеніе? Кто не пойметъ той очаровательно-стыдливой улыбки, которая мелькнула на коралльныхъ губкахъ Адели, когда онъ послѣ того, танцуя съ нею мазурку, сказалъ ей о приглашеніи ея батюшки?

Она покраснѣла. Какъ въ это время она походила на розу!

Неправда-ли, роза хороша?

Музыка затихла. Все болѣ и болѣ стала пустѣть огромная зала. Цвѣты, эшарпы, перья начали рѣдѣть. Тусклѣй, казалось, горѣли лампы. Какъ скученъ залъ послѣ бала! . . . Генералъ С. что-то говорилъ хозяйкѣ. Та улыбалась. — Онъ поклонился . . . . Семейство С. уже въ передней.

— Помилуй Б***, ты чуть было не сшибъ меня съ ногъ, закричалъ Жюль. Куда ты это?

Но Б*** уже былъ далеко.

Когда Адель ступила ножкой на первую ступень кареты, ей послышался вздохъ. Она поворотила голову: какой-то мущина, закутанный въ плащъ, стоялъ на крыльцѣ. Она подалась нѣсколько назадъ — свѣтъ фонаря ударилъ въ лице не-

знакомца: это былъ Б***. Онъ снялъ шляпу. Она кивнула головою, невольно улыбнулась, невольно.... Она уже была въ каретѣ.

— Домой! закричалъ лакей. Дверцы хлопнули. Лакей взлетѣлъ на запятки... Вдалекѣ замиралъ стукъ кареты.

— А Б***?

— Б***.... Онъ тоже уѣхалъ.

=

— Этотъ Б***, сказалъ Генералъ С., возвратившись домой, мнѣ очень нравится. Онъ чрезвычайно уменъ и разсудителенъ не по лѣтамъ; а это диво! — Право жаль, что такъ мало на него похожихъ. Наша молодежъ — бррр!!...

— Beau danseur и хоротъ собою, прибавила мать , онъ далеко уйдетъ.

А Адель . . . но вы вѣрно догадаетесь, что Адель молчала — она только никакъ не могла отстегнуть браслетовъ. О въ этомъ случаѣ дѣвушки необыкновенно скромны. Любовь и хитрость почти синонимы. Но за то, какъ много передумаетъ голова , сколько сердце перечувствуетъ !...

— Bonne nuit , maman.

— Bonne nuit , papa.

IV.

ОНЪ И ОНА.

И что съ невинною душой
Сбылось — не постигала;
Лишь сердце бѣлось, и порой,
Вся вспыхнувъ, трепетала,
Лишь пламень гаснущій сіялъ
Сквозь тѣнь рѣсницъ склоненныхъ,
И вздохъ невольный вылеталъ
Изъ устъ воспламененныхъ.

— В. А. Жуковскій, *Вадимъ*. —

Laß ihre Hand, die zärtliche, mich fühlen,
Den Schatten nur von ihres Mantels Saum.

— Schiller. —

IV.

Закутанный въ бархатный шлафрокъ, сидѣлъ Б*** въ своихъ Вольтеровскихъ креслахъ и думалъ объ Адели. Какъ онъ перемѣнился сегодня! Онъ такимъ веселымъ поѣхалъ на балъ, такимъ задумчивымъ воротился съ бала. — Ужъ было такъ поздно,

а онъ и не думалъ заснуть; — прежде онъ засыпалъ такъ скоро. . .

Онъ вскочилъ, подошелъ къ окну и растворилъ его. Ночь была холодная; но онъ не чувствовалъ холода — въ его крови было лѣто, и очень жаркое. Онъ прислонился къ окну.

— Ахъ! сказалъ онъ, и замолчалъ.

Онъ затворилъ окно, подышалъ на стекло, и что-то началъ по немъ писать пальцами. Первая буква была пребольшая, другія премаленькія — такія маленькія. . . онъ замаралъ написанное.

— Ахъ! сказалъ онъ опять.

Если вамъ какая-нибудь миленькая дѣвушка, на ваше признаніе въ любви, от-

вѣтитъ: «ахъ!» это значитъ.... Цѣлуйте ее. Она не разсердится.

Б*** бросился на кроват. Вѣжды его начали смыкаться.... Вдали мелькала Адель, такъ же прелестная, такъ же очаровательная, какъ и на балѣ. Онъ глубоко вздохнулъ..

Онъ уже спалъ.

Высоко горѣло солнце, когда на слѣдующее утро пробудился Б***. Какъ чудный, чародѣйственный сонъ летало передъ нимъ вчерашнее, и проливало въ его душу какое-то сладкое, никогда имъ прежде не испытанное упоенiе — этотъ нектаръ первой любви, еще дѣвственной и чистой, еще не разроднившейся съ небомъ. Какъ игриво развертывалась передъ нимъ жизнь, всѣми цвѣтами радуги расцвѣченная! Она обѣщала только однѣ ра-

дости, сулила ему одно счастіе! ... Какъ она была прекрасна эта жизнь, разсмотрѣнная сквозь призму любви и восторга!....

Онъ приподнялся и облокотился на руку; на лицѣ его выразилось безпокойство.

— Но любитъ ли она меня? подумалъ онъ.

— Должна меня любить! сказалъ онъ громко, какъ-бы желая тѣмъ заглушить голосъ сомнѣнія, говорящій въ его груди. Должна?... Неужели сердце ея не отзовется моему сердцу?... Развѣ ея чувства не *должны* откликнуться моимъ чувствамъ?.... Да, она не можетъ меня не любить, иначе и я не могъ бы полюбить ее такъ, какъ я ее люблю....

— Но, продолжалъ онъ, какъ-бы размышляя, если она уже любитъ другаго?... Нѣтъ! — Взоръ ея не лжетъ; а онъ такъ часто и противъ ея воли говорилъ мнѣ: люблю!... Она меня любитъ!!!...

Онъ протянулъ руку къ колокольчику, но не звонилъ; — онъ былъ слишкомъ счастливъ, чтобъ позвонить.... Онъ обѣ руки заложилъ за голову и потянулся....

— А-а-а-а-а!

Онъ позвонилъ.

— Что прикажете, спросилъ Иванъ, отворяя двери.

— Скажи пожалуйста, который часъ?

— Скоро двѣнадцать.

Б*** соскочилъ съ кровати.

— Скоро двѣнадцать? воскликнулъ онъ съ удивленіемъ. И я могъ спать такъ долго? И ты меня не разбудилъ, Иванъ?

— Вы такъ сладко спали...

— Все равно. Это не резонъ спать долѣе обыкновеннаго. Сдѣлай милость, впередъ, какъ бы я сладко ни спалъ, буди когда нужно. Теперь давай поскорѣй одѣваться; — да пиркажи Полю заложить Мими въ мой тильбюри, и самъ чтобъ одѣлся: онъ поѣдетъ со мною. Ступай же.

— Иду, сударь, иду.

Б*** одѣвался всегда слишкомъ долго; сегодня же, противъ обыкновенія, онъ одѣлся слишкомъ скоро. — Предоставляю психологамъ рѣшить: *отчего?*

Вы любите Романтиковъ? Вотъ вамъ образчикъ ихъ *манеры :*

На крыльяхъ любви Б*** полетѣлъ туда, куда звали его любовь, нетерпѣніе и сердце, — гдѣ жила его Адель!

А она уже давно ждала его; — она не спала; даже и не думала, чтобы ей можно было заснуть. Ей казалось страннымъ, что онъ не тутъ, не съ нею. Сколько разъ уже подходила она къ окну и смотрѣла: не идетъ ли онъ? А онъ все не приходилъ! Какъ она мучилась! . . . Какъ она желала, чтобы онъ пришелъ; и какъ страшилась той минуты, когда онъ придетъ. Сколько новыхъ чувствъ, и мучительныхъ, и пріятныхъ, родились въ ея груди, волновали ея грудь, съ тѣхъ поръ, какъ она любила. —

А давно-ль она любила! . . .

Она хотѣла молиться. Она встала на колѣни, сложила руки; — но ни одной молитвы не приходило ей на умъ.

— Боже, сказала она, прости меня, если я грѣшу. Сердце мое наполнено любовью; а любовь вѣдь также одинъ изъ твоихъ даровъ!

Она сѣла за флигель -- хотѣла играть, и не могла; — взяла книгу, и ей казалось, что всѣ буквы скачутъ, бѣгаютъ, путаются. . . . Нѣтъ, она не могла читать! — И она задумалась — вздохнула...

Она часто вздыхала.

═

Б*** сдѣлался почти ежедневнымъ гостемъ въ домѣ Генерала. Онъ всегда съ

большимъ вниманіемъ слушалъ разсказы С. о сраженіяхъ; о ранахъ, имъ полученныхъ; о побѣдахъ, за которыя Франція была обязана единственно ему. Безъ малѣйшаго признака нетерпѣнія дослушивалъ до конца его длинныя разсужденія о стратегіи, о Марлборугѣ, о Тюренѣ, о Конде́, Фридрихѣ Великомъ, Наполеонѣ. . . Съ неизсякаемою любезностію пускался съ нимъ въ лабиринтъ политики. . . заблуждался. . . выпутывался кое-какъ. . . иногда противорѣчилъ, но уступалъ всегда; и съ каждымъ днемъ Генералъ любилъ его болѣе; съ каждымъ днемъ Б*** болѣе выигрывалъ въ его мнѣніи, дѣлался дороже, необходимѣй его сердцу. Мать Адели также любила Б***. Она называла его своимъ любимцемъ. Ея благосклонность онъ успѣлъ снискать тѣми маленькими угожденіями, которыя такъ умѣютъ цѣнить старушки; тѣми ласкательствами, которыя такъ пріят-

ны самолюбію старушекъ. Странное дѣло, эти старушки! Возьмите любую изъ нихъ: всѣ такія лакомки до комплиментовъ и вѣрятъ комплиментамъ, вѣрятъ слѣпо; — а вѣдь какъ не знать имъ, что они и стары, и нехороши, и въ морщинахъ... Такъ нѣтъ, вѣрятъ. Попробуйте переувѣрить!... А намъ, скажите, какъ не польстить бабушкѣ, у которой миленькая внучка.

Б*** очень любилъ старушекъ. Онъ всегда говорилъ: — добренькая старушка— это моя страсть! Что можетъ быть любезнѣе умной старушки, когда ей вздумается заставить себя полюбить. Вы ее полюбите какъ мать.—Какъ я люблю добренькихъ умныхъ старушекъ! —

Это говорилъ Б***.

Я говорю тоже.

Б*** прекрасно декламировалъ. Онъ былъ одаренъ отъ природы голосомъ весьма чистымъ и пріятнымъ. Вамъ невольно нравилось все то, что онъ читалъ. Я думаю, каждый догадается, что это очарованіе распространялось и на самаго декламатора: — онъ тоже очень нравился. Каждый вечеръ почти онъ приносилъ съ собою какую-нибудь книгу, садился близь Адели — и читалъ. Потомъ они разсуждали о читанномъ; иногда спорили, но никогда долго. Адель такъ мило улыбалась, что Б*** по-неволѣ засматривался, и вѣчно забывалъ, о чемъ говорилъ.... Они снова читали. Къ вечеру пріѣзжали гости. Тогда пѣли, играли, разговаривали, смѣялись... вечера проходили непримѣтно; — и каждый разъ Б*** уходилъ не-хотя. Каждый разъ Адель задумывалась, когда онъ уходилъ. Чтожъ тутъ удивительнаго?

Она любила его всѣмъ сердцемъ. Она

любила его такъ же чисто, такъ же свято, какъ мы любимъ все священное, какъ мы любимъ все великое! Въ немъ сосредоточивались всѣ ея надежды, всѣ ея чувства, вся ея жизнь дѣвы! О, какъ она любила! . . . Она была его рабыней. Она была его Семелой — онъ былъ ея Зевсомъ. Съ тѣхъ поръ, какъ она знала Б***, она даже не молилась; она не смѣла молиться Богу: только молитва чистая до Него восходитъ . . . .

Адель была дѣвушка очень добрая, очень умная, очень образованная. Кто зналъ Адель, тотъ былъ безъ ума отъ Адели. Всѣ любили добрую, умную, образованную Адель. Она знала, что всѣ ее любили; она знала еще болѣе — она знала, что была красавицей, что была очень умна; — и не гордилась этимъ, не дѣлалась ни педанткой, ни кокеткой. Скажитежъ, не заслуживала-ли она того, чтобъ

всѣ ее любили? Еслибъ вы ее знали, не полюбили-ли бы вы ее тоже? не сказали-ли бы вы, что говорили всѣ тѣ, которые ее знали: «какой ангелъ!» —

Ея любимымъ занятіемъ было: музыка и книги. Книги она почти предпочитала музыкѣ. Почему именно? я не знаю. Быть-можетъ *такъ*, изъ прихоти. Она хвалила многихъ поэтовъ; но любила только двухъ: *Байрона* и *Шиллера*. Иногда ей казалось, что Шиллера она любитъ болѣе Байрона. Она любила ихъ равно, какъ сестра любитъ двухъ братьевъ, — только пѣвецъ Германіи былъ ея любимымъ братцомъ. Она какъ ребенокъ радовалась, когда узнала, что Б*** былъ о нихъ одного съ нею мнѣнія. Женщина, пока она молода, все немножко ребенокъ, и ничѣмъ она такъ не нравится, какъ этимъ; никогда не бываетъ такъ увлека-

тельно-мила, какъ въ тѣ минуты, когда она немножко ребенокъ.

Вы вѣрно не догадатесь, которое изъ стихотвореній Шиллера ей нравилось болѣе другихъ; и, можетъ-быть, не повѣрите даже, что она почти каждый день читала: «*Пегасъ въ неволѣ,*» — и долго читала; но, скажите сами, не скорбѣли-ли вы вмѣстѣ съ бѣднымъ конемъ, когда онъ, запряженный въ плугъ, упадаетъ отъ усталости, и на него сыплются удары . . . Скажите не билось-ли потомъ отъ ожиданья и восторга ваше сердце, когда вдругъ юноша, съ золотою повязкой въ русыхъ кудряхъ, съ лютнею въ рукахъ, подходитъ, и садится на Пегаса; и, почуя сѣдока, иппогрифъ, снова полный огня и жизни, какъ духъ, какъ Дивъ, распускаетъ широкія крила.... одинъ взмахъ!.... и онъ уже подъ облаками! — О, вы какъ-то невольно воспламеняетесь — невольно

хотите въ слѣдъ за нимъ — вы летите... но вы вздохнули? . . . а, вы еще землю чувствуете подъ своими ногами; а небо далеко! — Какъ часто завидуютъ орлу, но орелъ не долетитъ до неба; а я и за небо уношусь моею мыслью! . . .

Какъ плакала Адель надъ: «*Прости*» Байрона. Съ какою любовью читала, и перечитывала она эти стихи:

But 'tis done — all words are idle —
  Words from me are vainer still;
But the thoughts we cannot bridle
  Force their way without the will. —
Fare thee well! — thus disunited,
  Torn from every nearer tie,
Sear'd in heart, and lone, and blighted —
  More than this I scarce can die *.

* Но все кончено — всѣ слова напрасны — мои въ особенности; но мысли, которыхъ мы не можемъ подавить, вырываются противъ воли. Прости-же! а я, разлученный съ тобою, оторванный отъ всего, что любилъ; съ сердцемъ изсохшимъ, покинутымъ, увядшимъ, — я болѣе этого умереть не могу.

Какъ ненавидѣла она *Аннабеллу*; но *Аду*? — О, какъ мать, какъ сестру, какъ свою дочь она любила Аду! . . .

═

Въ гостиной топился каминъ. Протянувшись въ креслахъ, сидѣлъ передъ каминомъ Генералъ, и съ большимъ вниманіемъ читалъ газеты. Онъ дѣлалъ это каждое послѣ-обѣда. Возлѣ него на небольшомъ столикѣ краснаго дерева было разбросано нѣсколько номеровъ: Gazette de France и Journal des Débats. Только изрѣдка прерывалъ онъ чтеніе, чтобъ помѣшать дрова въ каминѣ, и тамъ снова брался за газеты. Немного въ сторонѣ сидѣла его жена. Ноги ея покоились на скамейкѣ обитой бархатомъ. Она тоже читала. Вдругъ дверь тихо отворилась — вошла Адель, почти на цыпочкахъ подкра-

лась къ матери и шепнула ей что-то на ухо. Мать погладила ее по щекѣ и кивнула головою. Адель приблизилась къ отцу и взялась за ручку его креселъ. Онъ продолжалъ читать. Она отошла — подошла снова, хотѣла говорить . . . и опять отошла. —

— Папа! сказала она вдругъ, какъ-бы собравшись съ духомъ, и спѣша воспользоваться минутой рѣшимости.

— Что тебѣ? спросилъ сердито отецъ, не поднимая глазъ.

— Я имѣю до васъ просьбу, начала робко Адель. Вы мнѣ не откажете, папа? прибавила она нѣжнымъ, вкрадчивымъ голосомъ.

Генералъ приподнялъ голову, взглянулъ на Адель: она съ такимъ умоляю-

щимъ видомъ смотрѣла на него; это выраженіе безусловной покорности въ лицѣ; эта просьба, почти готовая спорхнуть съ губокъ, необыкновенно шли къ ней: она была прелестна. Генералъ невольно улыбнулся.

— О чемъ же ты просишь? сказалъ онъ голосомъ совершенно смягченнымъ.

— О . . . но дайте мнѣ напередъ слово, что не откажете.

— Развѣ я такъ часто тебѣ отказывалъ? Даю слово.

— Душенька папенька, еще одно условіе; это ужъ послѣднее —

— Ну.

— Вы не должны меня спрашивать, на что я употреблю то, что у васъ выпрошу.

— Что это у тебя сегодня за странности? . . . Правда, я немножко любопытенъ . . .

Онъ взялъ ея руку, положилъ ее на ладонь своей правой руки и началъ ее гладить ладонью лѣвой.

— Ну, ужъ такъ и быть, ратификую и это.

Адель нагнулась, поцѣловала отца — поцѣловала еще разъ . . .

— Папа, мнѣ нужно двѣсти франковъ.

— Двѣсти фран . . .? Послушай, а вѣдь ты непріятель весьма не великодушный. Сначала совсѣмъ меня обезоружила; а потомъ уже нападаешь. Нечего дѣлать, коли нечѣмъ защищаться. Кричи: ура! Я по неволѣ сдаюсь.

Адель не помнила себя отъ радости. Она то цѣловала отца, то мать. Хлопала въ ладоши, цѣловала опять отца, опять обнимала мать, — и наконецъ выбѣжала вонъ порадоваться наединѣ, какъ она говорила.

— Не знаешь-ли ты, спросилъ Генералъ свою жену, когда вышла Адель, на что̀ ей нужны деньги? Я еще никогда не видѣлъ, чтобъ она такъ радовалась.

— Это ангелъ, возразила мать въ избыткѣ чувствъ.

— Тѣмъ болѣе имѣю я причину быть любопытнымъ. Онъ сложилъ газеты и обернулся къ женѣ.

— Я слушаю.

— Она, начала мать съ нѣкоторою нерѣшимостію, правда, просила меня нико-

му не говорить о ея тайнѣ; но ты ея отецъ. Скрыть отъ тебя эту тайну было бы жестоко съ моей стороны: я знаю какъ ты любишь Адель. Вотъ, видишь ли, въ чемъ дѣло. Мы сегодня ходили съ нею гулять. Ужъ возвращаясь домой, мы вдругъ увидѣли мальчика лѣтъ шести или семи — всего въ лахмотьяхъ: онъ что-то искалъ въ песку и горько плакалъ. Адель — я до глубины души была тронута ея поступкомъ — подошла къ мальчику и спросила его, о чемъ онъ плачетъ. Поминутно всхлипывая, онъ разсказалъ, что имѣетъ бѣдную маменьку, которая *очень* больна; что онъ шелъ въ Аптеку за лекарствомъ: кто-то его толкнулъ, онъ упалъ — и потерялъ деньги: онѣ были послѣднія. У Адели на глазахъ навернулись слезы; она попросила меня послать Бертрана съ мальчикомъ узнать хорошенько о положеніи его матери. Черезъ часъ воротился Бертранъ. Адель не могла его дождаться.

Вотъ, что мы отъ него узнали: мать этого мальчика, женщина весьма бѣдная, была вдова одного офицера. Пока она пользовалась здоровьемъ, она еще могла вырабатывать на хлѣбъ; но теперь, больная, лишенная всего, она часто должна была видѣть, какъ сынъ ея терпѣлъ голодъ: онъ всегда говорилъ, что сытъ, когда мать надъ нимъ плакала; но глаза матери не обманешь. Ея положеніе ужасно. Ты понимаешь теперь, на что Адели нужны деньги?

Генералъ прослезился.

— Боже, сказалъ онъ, благодарю тебя!

Когда послѣ того Адель вошла въ комнату, Генералъ только съ большимъ трудомъ могъ усидѣть на своемъ мѣстѣ, и не броситься къ ней на шею, и не разхвалить, не разцѣловать ее; но мысль, что

онъ тѣмъ, быть-можетъ, испортитъ радость дочери, его удержала: *онъ былъ отецъ!* Онъ поднесъ къ глазамъ газеты, чтобъ скрыть свои слезы. — Въ передней послышался шумъ.

— Господинъ Б***! произнесъ громко лакей, отворяя двери.

Б*** вошелъ въ комнату. — — — Онъ приблизился къ дамамъ, и началъ имъ что-то разсказывать. Судя по его жестамъ, по вниманію Г-жи С., его разсказъ былъ живъ, былъ занимателенъ. Но Генералъ не далъ ему докончить. Онъ подозвалъ его къ себѣ.

— Вы еще успѣете наговориться. У меня тма новостей. Знаете-ли: Карлисты опять разбиты на̀-голову? а одно бы движеніе — и побѣда ихъ. Реляція о сраженіи у меня въ рукахъ. Мы прочитаемъ ее

вмѣстѣ. Это — не въ обиду будь сказано нашимъ представительницамъ прекраснаго пола — гораздо интереснѣе ихъ бесѣды.

— Какъ бы не такъ? подумалъ Б***.

— Я къ вашимъ услугамъ, сказалъ онъ, подходя къ Генералу.

Генералъ взглянулъ на жену, погрозилъ пальцемъ Адели, и ласково спросилъ:

— Вы не сердитесь? . . .

Цѣлый, вѣчный часъ Б*** долженъ былъ слушать Генерала, когда въ нѣсколькихъ шагахъ отъ него была Адель. Онъ почти заболѣлъ отъ нетерпѣнія. Онъ сидѣлъ, какъ на иголкахъ. Онъ отъ чистаго сердца проклиналъ всѣхъ Христи-

носовъ, Карлистовъ, политическіе журналы, Испанскую войну . . . онъ проклиналъ даже самаго Генерала. Наконецъ пытка его кончилась. Генерала вызвали. Чрезъ нѣсколько времени ушла и мать Адели. Они остались одни.

Какъ часто уже, какъ пламенно они желали быть наединѣ и объясниться, сказать другъ другу, что они почти поминутно твердили себѣ самимъ; — и каждый разъ, когда они бывали наединѣ, они все говорили не о томъ, о чемъ такъ пламенно желали говорить. Они были увѣрены, что любили другъ друга; и все-таки иногда имъ не вѣрилось. Б * * *, прежде столь предпріимчивый съ женщинами, боялся сказать теперь Адели, что онъ прежде такъ часто, такъ смѣло говорилъ другимъ: *люблю!*

— Вы какъ-то просили меня, началъ

Б***, вынимая изъ кармана книгу, достать вамъ *Жанъ-Жака*. Я принесъ вамъ сегодня его *Новую Элоизу*. Вина моя предъ вами такъ велика, что я не знаю даже, могу ли просить у васъ прощенія. Скажите, вы вѣрно сердились на меня, что я вамъ такъ долго не приносилъ Руссо? Но если-бъ вы знали . . . я право не могъ его достать раньше. Моей книги не было дома; а мнѣ хотѣлось вамъ дать свою. Только вчера вечеромъ возвратили мнѣ ее. Вотъ она.

Адель взяла книгу.

— Неужели вамъ кажется, что я такъ зла, сказала она, перелистывая книгу. Нѣтъ, я не сердилась; я только думала, что вы забыли о моей просьбѣ. Вижу теперь, что вы *не* забыли. Я вамъ очень благодарна.

— Могъ ли я забыть, когда вы просили?

— А почему-жъ?

— Спросите у подсолнечника, отчего онъ всегда обращается къ солнцу. Что вамъ отвѣтитъ подсолнечникъ?

— Я не пойму, что онъ отвѣтитъ, возразила Адель, слегка пожавъ плечами.

Лице Б*** сдѣлалось вдругъ серіознымъ.

— Есть разница, сказалъ онъ сухо, между *не понимать* и *не хотѣть понять.*

Адель развернула книгу, прочла нѣсколько строчекъ, закрыла и подала ее Б***.

— Мы ужъ такъ давно не читали вмѣстѣ, сказала она ласково, почитаемте сегодня. Теперь еще рано и до нашихъ visites du soir мы успѣемъ многое прочитать. Хотите?

Б*** сдѣлалъ утвердительный знакъ головою. Онъ сѣлъ напротивъ Адели, развернулъ книгу и сталъ читать.

Ужъ съ четверть часа продолжалось чтеніе. Б*** вдругъ остановился.

— Я здѣсь пропущу нѣсколько писемъ, сказалъ онъ, чтобъ поскорѣе добраться до того, которое мнѣ особенно нравится. Вы мнѣ скажете ваше мнѣніе.

Онъ перевернулъ нѣсколько листовъ, и продолжалъ.

Вотъ мѣсто, которое онъ читалъ съ особеннымъ выраженіемъ. Переведу какъ умѣю:

«Но что сталось со мною минуту спустя, когда я почувствовалъ . . . рука моя дрожитъ . . . какое упоеніе . . . что твой розовый ротикъ . . . ротикъ Юліи . . . прикоснулся, прижался къ моему рту? Когда ты сжала меня въ своихъ объятіяхъ? — о, какой огнь разлился тогда по моимъ жиламъ . . . вся моя жизнь перешла въ мои губы; всѣ мои чувства слились въ одно чувство восторга! Жгучи, пламенны были наши вздохи и сердце мое изнемогало подъ бременемъ невыносимаго блаженства! . . . »

Б*** умолкъ. Лице Адели пылало. Грудь ея, то подымалась, то опускалась. Какое-то чувство, досель неиспытанное, волновало ея душу. Она тихо подняла

глаза и тотчасъ ихъ опустила. Она не могла вынести взоровъ Б*** — они жгли!

Б*** не понималъ самаго себя. Никогда еще кровь его не текла съ такою быстротою въ его жилахъ. Никогда еще страсти не говорили въ немъ такъ бѣшено, какъ теперь. Какой ураганъ бушевалъ въ его груди! Какой вихрь желаній! — Робость его изчезла.

— Теперь или никогда! подумалъ Б***.

Онъ лежалъ у ея ногъ.

— Адель! . . .

Онъ не могъ сказать болѣе. Голосъ его пресѣкся; но выраженіе его лица было такъ краснорѣчиво; въ звукѣ его голоса было такъ много; глаза говорили такъ убѣдительно, — что Адель не могла

не понять. Адель поняла. О, еслибъ она могла, — съ какимъ бы блаженствомъ она бросилась теперь въ его объятія, съ какою бы радостію сказала ему, прильпувъ къ его груди: люблю! — Но она молчала. Она даже выдернула свою руку изъ его руки; и тогда, когда бы такъ охотно сама бросилась передъ нимъ на колѣни, она сказала:

— Встаньте, ради Бога, встаньте! Я васъ не понимаю.

Искренняя любовь такая близорукая! Все, даже малѣйшее, можетъ ее встревожить. Часто одно слово, одинъ взглядъ, одно движеніе приводятъ ее въ восторгъ или предаютъ ее отчаянію.

Б*** уже показалось, что Адель его не любитъ. Онъ думалъ, что все то, что онъ читалъ въ ея глазахъ, понималъ изъ

ея разговоровъ, выводилъ изъ ея съ нимъ обращенія, была одна только мечта, польстившая его самолюбію. О, какъ тяжело было ему разочарованіе! Какое ужасное, мучительное безпокойство овладѣло его душою!

— О, еслибъ вы знали, говорилъ онъ прерывающимся голосомъ, сколько я страдаю! сколько ночей безъ сна провелъ я, и сколько мукъ испытало мое сердце! Адель, я страдаю такъ много .... Я только былъ счастливъ, когда васъ видѣлъ, когда могъ слышать вашъ голосъ. — Тогда я забывалъ все: я только видѣлъ, я только слышалъ! — Я долго молчалъ. . . . я не могу болѣе .... я умру, если я буду болѣе молчать. — Адель, о взгляни на меня только разъ. . . Я тебя люблю! . . . Я умру, если ты меня не любишь; но если . . . Адель, я сойду съ ума отъ твоей любви! . . . Я тебя люблю; а ты?

Адель хотѣла говорить и не могла. Вся грудь ея волновалась какимъ-то смѣшеніемъ безпокойства и восторга — иногда захватывало у нее дыханіе — сердце ея билось такъ сильно, что, казалось, хотѣло выскочить: ему было душно въ груди. Одно бы слово ее облегчило; но еще было нѣчто, которое, сквозь эту бурю внутреннихъ волненій, говорило: молчи! И она сердилась, что должна была молчать — и молчала. Чего бы не дала она, чтобъ говорить . . . она мучилась и молчала.

— Ты молчишь, Адель?

— Вы не можете отвѣчать? продолжалъ Б*** съ вынужденною холодностію, вы не хотите отвѣчать? . . .

— Адель, произнесъ онъ, и въ его голосѣ выразилась вся пылкость его любви,

все безпокойство его сердца. Развѣ ты не слышишь, что я тебя люблю, что я умру, если ты меня не любишь? О Адель, люби меня. Обмани меня, скажи что любишь!... Адель . . .

И онъ схватилъ ея руку, прижалъ ее къ своей груди, придавилъ къ губамъ, къ глазамъ — покрывалъ ее поцѣлуями. Вдругъ что-то мокрое упало на руку. Б*** взглянулъ на Адель. Она плакала.

Онъ вскочилъ.

— О, ты моя! Ты меня любишь, закричалъ онъ — и рука Адели обвилась около его шеи, голова ея лежала на его плечахъ.

— Люблю! люблю! . . . шептала она сквозь слезы.

Б*** тихо приподнялъ ея голову — она улыбнулась. Глаза Адели высказали всю тайну ея сердца. Теперь она была вся его. Уста ихъ встрѣтились . . . Какъ дологъ, какъ жаденъ, какъ ненасытенъ былъ этотъ поцѣлуй! Какая вѣчность блаженства была въ этомъ поцѣлуѣ! За то онъ и дается намъ только одинъ разъ въ жизни! . . .

За дверьми послышался шорохъ. Б*** отскочилъ отъ Адели, схватилъ книгу и сталъ читать. Это былъ камердинеръ Генерала. Онъ подошелъ къ Б***.

— Генералъ велѣлъ васъ просить къ себѣ на пару словъ.

— Гдѣ онъ?

— Въ своемъ кабинетѣ.

— Онъ одинъ?

— Одинъ-съ.

— Скажи, что тотчасъ буду.

Камердинеръ вышелъ.

— Какъ я счастливъ! сказалъ Б***. Какъ я горжусь, что ты меня лю... нѣтъ! я даже себѣ не буду этого говорить, чтобъ лучше, чтобъ глубже чувствовать мое блаженство. О! . . . Адель, я прежде сердился на твоего отца, когда онъ читалъ мнѣ свои журналы — теперь я не буду на него сердиться; я не могу на него сердиться . . .

— Ступайте же къ батюшкѣ, произнесла Адель нетвердымъ голосомъ, онъ ждетъ васъ. Оставьте меня одну . . . Я

должна остаться одна... хоть немножко, только одна.

— Другъ мой! воскликнула она вдругъ, схватила его за руку, прижала къ своей груди —

— Нѣтъ! нѣтъ! проговорила она скоро. Папа ждетъ васъ. Теперь прощайте! Мы увидимся вечеромъ. — Ты... вы... Ты лучше. Ты!...

Она убѣжала.

— Не сонъ ли это? сказалъ Б***, протирая глаза. Ахъ, если бы не сонъ!

— Она меня любитъ!... О Боже, дай мнѣ силы перенесть мое счастіе! продли его навѣчно, или пусть я умру теперь.

— Но развѣ она можетъ любить меня?

Этотъ ангелъ, *меня* любитъ — Ангелъ?... Неужли у Бога всѣ ангелы такъ хороши?...

Онъ пошелъ къ Генералу.

Адель въ своей комнатѣ молилась Богу. Давно уже не молилась она такъ усердно. Какъ пламенна была ея молитва! — Волненье ея утишилось. Одно только тихое, безмятежное чувство невыразимаго счастія наполняло ея душу. Въ первый разъ развернулась передъ нею жизнь, — жизнь раздольная, полная очарованій, полная наслажденій и любви. Въ первый разъ она постигнула возможность безпрерывнаго блаженства, и жалѣла . . . . но это такъ сливалось съ ея счастіемъ, что я, право, не знаю о чемъ она жалѣла.

Никогда еще Адель не была такъ умна, такъ любезна, такъ очаровательна, такъ дѣтски добра и весела, какъ въ этотъ

вечеръ. Никогда еще не были отъ нее въ такомъ восторгѣ, какъ въ этотъ вечеръ. Она мало говорила съ Б***; она почти не смотрѣла на Б***; но все, что она дѣлала, она дѣлала для него. И онъ ее понялъ, и она достигла своей цѣли:

Онъ былъ счастливъ. —

Онъ видѣлъ, что она была счастлива. —

V.

ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ.

Was zieht mir das Herz so?
Was zieht mich hinaus?
Und windet und schraubt mich
An's Zimmer und Haus?
Wie dort sich die Wolken
Um Felsen verziehn!
Da möcht' ich hinüber,
Da möcht' ich wohl hin! . . .

— Göthe. —

Pourquoi de tes regards percer ainsi mon âme?
Baisse, oh! baisse tes yeux pleins d'une chaste flamme:
Baisse les, ou je meurs.
Viens plutôt, lève toi! Mets ta main dans la mienne,
Que mon bras arrondi t'entoure et te soutienne
Sur ces tapis de fleurs.

— Lamartine. *Chant d'amour.* —

V.

Это было въ концѣ Мая 18 . . .

Адель сидѣла одна дома. Она была грустна. Вдругъ у подъѣзда застучалъ экипажъ. Тихо отворилась дверь: кто-то вошелъ. Это былъ Б***. Съ крикомъ ра-

дости бросилась Аделъ къ нему на встрѣчу и вдругъ остановилась —

— Bon soir, Monsieur.

— Что это съ тобою? сказалъ Б***, сдѣлавъ шагъ назадъ и смотря съ удивленіемъ на Адель. Такь ли ты меня встрѣчала прежде? Я думалъ, что сегодня ты меня встрѣтишь совсѣмъ иначе.

— Отчего это вы такъ долго не были у насъ, спросила Адель, какъ-бы не разслышавъ вопроса Б***.

— Я былъ боленъ, отвѣчалъ онъ укоряющимъ голосомъ.

— Боленъ? . . .

И съ лица Адели изчезъ даже малѣйшій слѣдъ прежней холодности. На немъ

выразилось самое живое участіе, и еще что-то между страхомъ и сердечнымъ довольствіемъ.

— И вы . . . и ты молчалъ о твоей болѣзни.

— Я боялся тебя встревожитъ. Моя болѣзнь была не опасна.

— Какъ же ты худо знаешь сердце женщины. Для него нѣтъ ничего мучительнѣй неизвѣстности. О еслибъ я могла пересказать тебѣ, сколько я перечувствовала въ это время, сколъко перестрадала? Я уже думала, что ты меня не любишь; что ты уже никогда не будешь къ намъ болѣе; что ты полюбилъ другую; — но я уже позабыла *теперь*, о чемъ думала *прежде*. Знаю только, что одна мысль была чернѣе, была тяжелѣе, была убійственнѣй другой!

— Прости меня, Адель. Я виноватъ! я всегда виноватъ предъ тобою.

Адель улыбнулась и протянула къ нему свою руку.

Б*** съ жадностію схватилъ руку Адели. Онъ ужъ такъ давно не цѣловалъ этой ручки. Какъ горѣли его уста, когда онъ началъ ее цѣловать.

— Да, Адель, когда я возлѣ тебя, мнѣ кажется, что нѣтъ ни будущаго, ни прошедшаго, что есть только одно настоящее: безпредѣльное, безтуманное, полное блаженства, неистощимое любовью, неизсякаемое наслажденіемъ. О, еслибъ это было такъ!

Адель сѣла. Б*** сѣлъ возлѣ нее; рука его покоилась на спинкѣ креселъ Адели; губы его почти касались ея локо-

новъ. Они говорили. Быть-можетъ, вы знаете, какъ пріятно разговаривать съ тѣмъ, кого любишь? Говоришь, говоришь — часто о пустомъ, почти всегда объ одномъ и томъ же; а не можешь наговориться — все бы говорилъ! . . .

Они пошли въ садъ.

— Какъ часто, сказала Адель, остановясь у роскошнаго цвѣтника, насъ укоряютъ въ мечтательности; а она такъ натуральна въ наши лѣта. Я не знаю, но по мнѣ такъ много сладости въ этихъ мечтахъ, въ этихъ полу-снахъ упоеннаго сердца!

— Кто молодъ и кто любитъ, тотъ не станетъ насъ укорять. Онъ пойметъ, что не мечтать значитъ — не жить. Только человѣкъ, пресыщенный любовью, все перечувствовавшій, измечтавшійся — мо-

жетъ намъ сказать, что мечты безумство. Нѣтъ! минуты мечтаній — это минуты духовной жизни, праздники души! . . .

— О! . . .

— Дѣти любятъ свои игрушки, мы любимъ наши мечты. Отними у ребенка его игрушки — и онъ заплачетъ; отними у насъ наши мечты, и какою безцвѣтною, какою разочарованною, какою бѣдною покажется намъ жизнь! А что жизнь безъ наслажденій и радостей? — Лучше смерть!

— Правда! правда!

— Пусть ихъ говорятъ, Адель, мы вѣдь отъ того не менѣе счастливы. Будемъ мечтать, пока еще не прошла пора мечтаній: она невозвратима, какъ и лѣта юности. Пусть ихъ говорятъ. Что намъ въ ихъ разсужденіяхъ? — *Мы счастливы!...*

Тихо Адель пожала руку Б***.

День вечерѣлъ. Солнце, какъ погасающее пламя, брызнувъ еще разъ лучами, закатилось. Весь западъ облился пурпуромъ; но наконецъ полоса эта начала дѣлаться все уже и уже . . . стала желтѣть . . . . блѣднѣть . . . . и потухла. — Примѣтно темнѣло. — Деревья, казалось, росли . . . росли . . . дѣлались великанами — и тонули въ туманѣ. Шелестъ листьевъ, чуть-чуть колеблемыхъ тихимъ вѣтеркомъ, походилъ на какой-то чудный, фантастическій, развѣ только Богомъ понимаемый говоръ... Воздухъ благоухалъ испареньями ночныхъ фіалокъ. Вдали, чуть слышно, шумѣла Сена, какъ-будто засыпая. Качаясь, можетъ-быть, на вѣткѣ возлѣ гнѣздышка своей милой, соловей— этотъ заунывный пѣвецъ любви и нѣги— то щелкалъ, то заливался . . . и все въ природѣ, казалось, дышало любовью, но

любовью чистою, безмятежною,— любовью ангеловъ! . . . Какъ восхитительна была природа! Тамъ было —

Все полно таинъ и тишины
И вдохновеній сладострастныхъ!

Но вотъ въ небѣ загорѣлась звѣздочка... другая... третія... все небо вспыхнуло. —

— Посмотри, говорилъ Б*** Адели, указывая на небо, посмотри, какъ привѣтливо, какъ мило блещутъ эти звѣзды! Онѣ, кажется, нашептываютъ душѣ о чемъ-то сладкомъ, неземномъ — притягиваютъ душу . . . Какъ я люблю это небо, унизанное его крошками-звѣздами: эти яхонты, оправленные въ сапфиръ! О, сколько поэзіи въ этомъ морѣ огня и лазури! . . .

— Да, сказала мечтательно Адель,

какъ должно быть хорошо Богу тамъ, въ его раѣ, въ его небѣ — Боже! Боже!...

И съ какимъ-то невыразимымъ желаніемъ, съ любовію дитяти, глаза ея устремились къ небу. Чуть замѣтная улыбка мелькала на ея полуоткрытыхъ губахъ; вѣтеръ, клубя ея широкое, бѣлое платье, развѣвалъ по плечамъ ея темные локоны.

Вамъ бы почудилось, что вы видите одну изъ дѣвъ Оссіана.

Б*** забылъ и небо и звѣзды — онъ только видѣлъ ее.

— Адель.

Она не слыхала.

— Адель, сказалъ онъ громче.

Она продолжала молчать.

Онъ подошелъ къ ней, взялъ ея руку и поднесъ ее къ своимъ устамъ —

— Аде́-ль . . .

— Что . . . . .

Они улыбнулись.

— Хорошо небо, хороши звѣзды; но ты, Адель, ты лучше, ты краше и неба и звѣздъ!

Адель зажала ему ротъ:

— Тсъ! . . .

— Я не знаю, сказала Адель, какъ можно видѣть природу и говорить: *нѣтъ*

Бога! — когда все въ природѣ такъ ясно, такъ убѣдительно говоритъ: *Онъ есть!...*

— Ктожъ сомнѣвается, Адель?

— Мало-ли ихъ.

— А ты вѣришь?

— О, я была бы такъ несчастлива, еслибъ не могла вѣрить, — я вѣрю!... Но иногда однакожъ сомнѣніе закрадывается въ мою душу; и я тогда *такъ* страдаю! Мой другъ, ты умнѣй меня; — объясни мнѣ: отчего это? скажи мнѣ, почему такъ многое мнѣ непонятно?

— Почему?... Я плохой Теологъ; но вотъ, по-крайней-мѣрѣ, моя идея. Отчего ребенокъ не понимаетъ того, что понимаетъ взрослый? Отчего глупцу кажется темнымъ то, что такъ ясно для умна-

го? Оттого, что одинъ — ребенокъ; а другой — глупецъ! Если мы допускаемъ разницу между умнымъ и глупцомъ; почему же думаемъ, что между умомъ человѣка и мудростію Создателя нѣтъ никакого разстоянія? . . .

— Ктожъ такъ думаетъ?

— Атеисты вѣрно этого мнѣнія, иначе не могло бы быть атеистовъ . . . . Знаю, что многое въ Богѣ и религіи намъ кажется противорѣчащимъ; но это потому, что я человѣкъ, только просто человѣкъ; а Онъ — БОГЪ! . . . . Какъ же могу я хотѣть постигнуть Бога, я, слабый ребенокъ, — Его, Всемогущаго Мудреца? — Но когда разъ душа моя освободится отъ тѣла, воспаритъ къ небу, когда я Его увижу, — тогда прозритъ моя душа, и я пойму *тамъ*, что *здѣсь* мнѣ казалось темнымъ. Я вѣрю не потому, что я понимаю; но

потому, что я смертный, а онъ Богъ! — Нѣтъ Бога! говорятъ Атеисты. Итакъ мы созданы безъ цѣли, такъ, по случаю; и это познаніе добра и зла въ насъ — ничего; угрызеніе совѣсти — ничего; нашъ умъ — ничего . . . А если не ничего, слѣдовательно должна быть цѣль! А какая же цѣль безъ Бога и будущности? . . . Пиѳагоръ, жившій почти за 500 лѣтъ до Р. Х., вѣрилъ въ существованіе Единаго, Всемогущаго, Безконечнаго Бога; а есть Христіане, которые могутъ говорить, что Бога нѣтъ!

Б*** стоялъ передъ Аделью; его правая рука была простерта къ небу; глаза, казалось, искали чего-то между звѣздами и брызгали искрами; щеки пылали заревомъ восторга. Онъ былъ весь вдохновенье.

Въ безмолвіи слушала Адель.

Давно уже взошелъ мѣсяцъ. Онъ тихо и ясно свѣтилъ съ своего лазурнаго лона — но вдругъ сдѣлалась темно . . . такъ темно . . .

Адель невольно вздрогнула и прижалась къ Б***.

Это просто облачко набѣжало на луну.

— Не понимаю, сказалъ Б***, за что поэты такъ любятъ мѣсяцъ? Взгляни, — неправда-ли, что онъ своими безжизненными глазами, какъ мертвецъ, смотритъ на землю, и, какъ саваномъ, прикрываетъ ее своими тусклыми лучами? И этотъ мѣсяцъ могли назвать звѣздой любви! Каждый разъ, когда я на него смотрю, мнѣ кажется, что я окруженъ духами, видѣньями; что слышу шопотъ подъ землею и надъ собой; что меня тащутъ — и я противъ воли робѣю, дрожу какъ мальчишка . . .

и умомъ моимъ (вотъ что дѣлаетъ воображеніе!) невольно овладѣваетъ мысль, что я вижу вѣдьму, летящую на помелѣ, слышу пѣсни мертвецовъ, окруженъ . . . но что тебѣ говорить о всѣхъ моихъ *причудахъ?* Я самъ смѣюсь первый надъ своимъ ребячествомъ; но не могу не ребячиться, не могу не бояться вашей луны, только благодѣтельной для вампировъ, оледеняющей чувства, мертвящей порывы души, всасывающей нашъ мозгъ и заставляющей насъ, какъ полуумныхъ, бродить по ночамъ! —

Они пошли.

Возлѣ огромнаго дуба была небольшая дерновая скамья. Сюда часто ходила Адель читать и думать . . . Думать о томъ, что любишь? Сколько тутъ думъ небесныхъ, прекрасныхъ, все проходящихъ и

все возвращающихся . . . Думать о томъ, что любишь? О! . . .

Сюда пришла Адель и теперь. Они сѣли. Они долго молчали; но каждый изсохшій листикъ, валявшійся у ихъ ногъ, привлекалъ уже ихъ вниманіе; каждое облачко раждало въ нихъ тысячу мечтаній; все ихъ занимало; все было *теперь* лучше, было прекраснѣе — и небо имъ улыбалось, и земля казалась тѣмъ же небомъ.

Адель говорила:

— Какіе мы, право, странные! Ну, угодить-ли на насъ когда-нибудь Богу?.... Теперь я такъ счастлива, что могу сидѣть возлѣ тебя и на тебя смотрѣть; — и опять недовольна, что не могу все такъ сидѣть, все такъ смотрѣть —

Она остановилась, взглянула на Б***,

руки ея какъ-бы невольно обвились около его шеи; она продолжала:

— О почему нельзя умирать вмѣстѣ съ послѣднимъ днемъ счастія, и съ прощальной радостью сердца выдохнуться жизни? . . . Помнишь, ты мнѣ читалъ нѣкоторыя изъ писемъ Мирабо къ его Софіи? Какъ справедливо онъ говоритъ: не желать смерти — на это нужно гораздо болѣе мужества, нежели для того, чтобы ея не бояться; — потому, можетъ-быть, я и не могу свыкнуться съ идеей: какъ можно пережить свое блаженство, не умереть, когда умерло сердце? — Да, можно-ли это? . . .

Оба молчали. —

Вдругъ по лицу Адели, казалось, пробѣжала мысль — она вздрогнула, сдѣлалась серіозною, ея глаза какъ-то странно

заблистали, голосъ задрожалъ какъ въ лихорадкѣ: — Ты будешь все меня любить? любить одну? . . .

— Пока я живъ!

— Но еслибъ я даже и хотѣлъ тебя забыть, я бы не могъ! Какъ хочешь ты, чтобы я забылъ эти глаза, эти губки, эти темныя кудри, этотъ румянецъ, который иногда, прелестнѣе зари утра, вспыхиваетъ на твоихъ щекахъ, этотъ голосъ, которымъ ты такъ хорошо, такъ восхитительно умѣешь мнѣ говорить: *люблю тебя!?* . . .

И глаза его, полные страсти, остановились въ упоеніи на прекрасномъ, выразительномъ лицѣ Адели . . . и рука его въ ея рукѣ дрожала . . . и онъ весь дрожалъ . . .

— О, не смотри такъ на меня, произнесла Адель умоляющимъ голосомъ, ради Бога не смотри! Я не могу снести этого взгляда. Онъ, кажется, сжетъ мое сердце, проникаетъ далеко въ мою душу — губитъ меня! И она прислонила къ его груди свою головку, обвила ее въ душистый шелкъ своихъ длинныхъ кудрей, и продолжала:

— И все-таки — желанія сердца такъ противорѣчащи — мнѣ бы хотѣлось, чтобы ты всегда такъ глядѣлъ на меня. Я, кажется, умерла бы, еслибъ ты могъ когда-нибудь посмотрѣть на меня иначе; еслибъ ты, хотя однажды, взглянулъ такъ на другую . . . Обѣщай мнѣ —

Онъ наклонилъ голову; уста ихъ встрѣтились; и не могли разстаться — долго . . . долго . . .

— Ахъ, другъ мой, сказала послѣ непродолжительнаго молчанія Адель, положивъ довѣрчиво руку на плечо Б***, мнѣ все что-то кажется, что мы не долго будемъ счастливы. — Небо такъ завистливо глядитъ на насъ, бѣдныхъ счастливцевъ земли, какъ-будто боится, что его забудутъ! . . . Иногда . . . о, это минуты безумства, минуты ужасныя . . . Какъ бьется мое сердце еще теперь! Посмотри, какъ я дрожу вся! . . . Нѣтъ! Нѣтъ! тебя не отнимутъ у меня! Я тебя вымолю, на колѣнахъ вымолю, выплачу кровью . . . О, другъ мой, будь сострадателенъ, изъ состраданія меня утѣшь! Ты знаешь, я только слабая женщина; я только имѣю силы для того, чтобы тебя любить вѣчно, безмѣрно любить — скажи мнѣ: вѣдь мы не разлучимся; вѣдь мои мечты только пустыя мечты; вѣдь боязнь моя только боязнь ребенка, слабаго, безумнаго ребенка? . . .

Б*** намоталъ на палецъ локонъ Адели, распустилъ его . . . намоталъ опять, поцѣловалъ . . . опять распустилъ —

— Да, сказалъ онъ, твои мечты только мечты пустыя; твоя боязнь только боязнь ребенка. Для чего же ты такъ вѣришь въ свои предчувствія? Вѣрь мнѣ: они обманчивы! — Скажи, Адель, что̀ можетъ небо? Оно можетъ отнять у насъ все; но не нашу любовь: любовь наша сильнѣй судьбы! . . . А что намъ всѣ бѣдствія, всѣ утраты, пока съ нами наша любовь? пока я съ тобою; пока со мною ты? пока мы живемъ одною жизнью, одною душою дышемъ, однимъ сердцемъ чувствуемъ, какъ теперь? . . .

И Адель ему улыбнулась, какъ вѣрно Богу улыбаются ангелы; и лучь луны, какъ тайный соглядатай, прокравшись

сквозь густыя вѣтьви дуба, поцѣловалъ, озолотилъ, скопился весь въ перловой слезѣ Адели —

То была слеза счастія и любви!...

=

Всѣ комнаты дома, занимаемаго Генераломъ С., были великолѣпно освѣщены. Улица была застановлена экипажами. И, какъ тѣни въ Фантасмагоріи, мелькали мимо оконъ: то строусовое перо, или эшарпъ, или цвѣтокъ красавицы; то эполетъ Офицера; то черный фракъ Дипломата.

Въ одномъ углу залы этого дома сидѣла Адель, а возлѣ нее Б***. Они молчали.

— О, какимъ я сдѣлался злымъ, Адель, сказалъ наконецъ Б***, съ тѣхъ поръ, какъ я тебя знаю. Взгляни на эту толпу. Всѣ кажутся такими добрыми, только занятыми своимъ удовольствіемъ, веселыми какъ дѣти; — а я ихъ ненавижу!

— Чтожъ они тебѣ сдѣлали? Не самъ ли ты прежде искалъ этихъ обществъ, находилъ въ нихъ свое счастіе?

— Адель, тогда я не зналъ тебя!... Но теперь . . . видѣть тебя столь любезною, столь очаровательною — и не смѣть упасть къ твоимъ ногамъ; не смѣть говорить тебѣ, сколько ты прекрасна, какъ много, какъ бѣшено я тебя люблю — о, это ужасно, это выше силъ моихъ! . . . И я ненавижу эту толпу, безсмысленную, непонимающую моихъ мукъ, лишающую меня моего блаженства, всего лучшаго, что я имѣю!

Низко опустились рѣсницы Адели — она говорила:

— Но неужели такъ много пожертвовать нѣсколькими часами этимъ людямъ, не сдѣлавшимъ намъ никакого зла? Развѣ послѣ того цѣлые дни, посвященные тольлюбви нашей, не достаточно вознаграждаютъ насъ за это? Неужели мы только должны думать о нашемъ собственномъ счастіи, нисколько не заботясь и о счастіи другихъ? Развѣ ты полагаешь, что я тогда меньше тебя люблю, менѣе *твоя* Адель? Небо намъ дало такъ много — неужели же мы ничего не дадимъ другимъ? . . .

— Быть-можетъ, ты права; . . . но каждое твое слово, сказанное другому; каждая твоя улыбка, подаренная не мнѣ, кажется мнѣ уже похищеніемъ у нашей любви, поруганіемъ нашего чувства! . . .

Въ это время одинъ изъ гостей подошелъ къ Адели.

— Mademoiselle, сказалъ онъ, простите мнѣ нескромность моего вопроса. Завтра балъ у Маркизы Роганъ. Вы будете?...

— Я дала слово.

— Говорятъ, что балъ будетъ великолѣпенъ.

— Неудивительно. Вкусъ Маркизы извѣстенъ.

— Я слышалъ, сказалъ другой гость, что дочь ея возвратилась изъ монастыря, и Маркиза намѣрена показать ее свѣту, окруженную всѣми чарами бала.

— О, чтобъ понравиться, подхватилъ

третій, молодая Маркиза не нуждается въ наружныхъ прикрасахъ.

— Вы ее видѣли?

— Еще сегодня.

— Итакъ она очень хороша? спросилъ Б***, чтобъ спросить что-нибудь.

— Сущій ангелъ.

— Позвольте мнѣ, сказалъ одинъ молодой человѣкъ, остановясь передъ Аделью, попросить васъ на первую Французскую кадриль . . .

— Я уже ангажирована.

— Могу ли я по-крайней-мѣрѣ надѣяться, что вы мнѣ не откажете на вторую?

— На вторую я еще не ангажирована.

— Итакъ вы танцуете со мной?...

— Avec plaisir, Monsieur.

Онъ поклонился и отошелъ.

— Mademoiselle, сказалъ Б***, и я въ свою очередь буду васъ просить; — но вы напередъ должны мнѣ обѣщать, что не откажете.

— Ну, а если откажу?

— Тогда мнѣ, разумѣется, придется довольствоваться отказомъ.

— Но... я вамъ не откажу. Voyons, о чемъ вы просите.

— Много для насъ; но для васъ такъ мало.

— Я плохая отгадчица. Ваша просьба?

— Спѣть и сыграть.

Адель поморщилась.

— О, еслибъ вы знали, какъ мнѣ это трудно; и какъ неохотно я пою. Но дѣлать нечего. Я дала слово.

Она сѣла за флигелъ. Б*** сталъ за ея стуломъ.

Съ быстротою молніи, съ прыткостію мысли, ея тонкіе, крошечные пальчики пролетѣли по клавишамъ — и остановились.

Она заиграла одну изъ симфоній Бет-

говена. Ни слова о музыкѣ. Кто не знаетъ музыки Бетговена? Кого она не приводила въ восторгъ? Скажите, кому не западала глубоко въ душу каждая изъ нотъ Бетговена? Не отзывалась душѣ чѣмъ-то знакомымъ, но вмѣстѣ чуднымъ и недосягаемымъ? . . .

Никогда еще Адель не играла такъ хорошо какъ сегодня; никогда не передавала такъ хорошо, такъ отчетливо каждое чувство, каждый оттѣнокъ чувства; — казалось, что все то, что было въ ней небеснаго, перешло въ ея пальцы; вся ея душа, весь огонь ея сердца вылился въ ея игрѣ. О, какъ она играла! . . .

Все въ залѣ чуть переводило дыханіе.

Б*** долженъ былъ держаться за спинку стула, чтобъ не упасть.

Попробуйте! попросите жену вашу, сестрицу или . . . *кого нибудь* . . . сыграть на фортепіано; сядьте возлѣ на стулъ, опрокиньте голову на спинку, закройте глаза и слушайте. Вы будете восхищены!... Вы долго будете такъ сидѣть; вы не захотите открыть глазъ — вы ихъ откроете съ трудомъ, съ сожалѣніемъ. Попробуйте! Что̀ вамъ стоитъ попробовать?...

Она запѣла.

Есть многое, что чувствуешь, что чувствуешь глубоко; но чего не въ состояніи выразить, чего ничѣмъ не выскажешь —

Какъ нѣчто дальнее замерли звуки. Тихо поднялись рѣсницы Адели . . . Всѣ еще слушали —

— Bravo! . . . *Bravo!* . . . Bravo! . . .

Почти бѣшеный, безумный восторгъ обуялъ всѣхъ гостей, самый холодный, самый безчувственный даже казался, по какому-то чуду, превратившимся въ меломана. Всѣ хлопали, всѣ кричали, всѣ толкались . . . Приличія были забыты.

— Кто можетъ пѣтъ какъ вы? воскликнулъ одинъ молодой поэтъ, съ лицемъ, пылающимъ отъ восторга. Какъ вы умѣли тронуть душу, вознести ее выше всего земнаго, разверзнуть передъ ней ея родину — небо! Я начинаю теперь вѣрить въ могущество лиры Орфея, и повторяю за Ламартиномъ:

Ah! ta voix touchante ou sublime
Est trop pure pour ce bas lieu!
Cette musique qui t'anime
Est un instinct qui monte à Dieu!

Не думайте, чтобы я хотѣлъ вамъ польстить. О нѣтъ! Я никогда не былъ такъ

искрененъ какъ теперь; и сказалъ еще слишкомъ мало, въ сравненіи съ тѣмъ, что чувствовалъ.

— Вы бы заставили поблѣднѣть отъ зависти Малибранъ и Пасту, пролепеталъ худощавый Дипломатъ Г., недавно возвратившійся изъ Италіи, и сквозь голубые очки умильно посматривалъ на закраснѣвшуюся пѣвицу.

— Слушая васъ, проговорилъ какой-то толстый мущина съ ужаснымъ носомъ, маленькими рысьими глазами и съ лысиною, огромною какъ цифферблатъ стѣнныхъ часовъ, протѣснивъ Дипломата, я кажется помолодѣлъ. Вы заставили сердце мое биться столь же сильно, какъ оно билось лѣтъ двадцать тому назадъ — и гримаса, которую онъ, по отеческой снисходительности, называлъ улыбкою, сдѣлала изъ его лица нѣчто похожее на ро-

жу обезьяны. Прошу не сердиться на сравненье. —

— Я въ восторгѣ! кричалъ одинъ.

— Всю жизнь мою я бы прослушалъ васъ! говорилъ другой.

— Что за голосъ!

— Délicieux!

— Sublime!

— *Объяденье!*

Это было сказано по-Русски однимъ Русскимъ путешественникомъ, большимъ гастрономомъ, который называлъ объяденьемъ все то, что онъ находилъ прекраснымъ, что ему особенно нравилось.

Похваламъ не было конца.

Одинъ только Б*** не говорилъ ни слова. Но за то, какъ сильно билось сердце въ его груди; какимъ неизъяснимымъ блаженствомъ сіяло его лице; сколько онъ чувствовалъ! . . . И какъ эти крики его упояли; эти восторги трогали его душу! Онъ *такъ* радовался торжеству Адели. Были даже минуты, когда ему чудилось, что это его хвалили, имъ восхищались . . . Но развѣ, въ самомъ дѣлѣ, ея торжество не было также и торжествомъ его? Развѣ онъ и она не были одно и тоже? Не неразрывно, не навѣчно-ли связала ихъ любовь? . . .

Теперь онъ почти любилъ эту толпу, еще недавно ему столько ненавистную.

Адель взглянула на Б***. Глаза его были задумчиво устремлены на нее, и

какъ они были краснорѣчивы въ эту минуту! Адель уже ничего не слыхала болѣе, она только видѣла глаза Б***. О, еслибъ онъ былъ тутъ одинъ! —

Адель встала и пошла. Одна изъ ея перчатокъ осталась на флигелѣ. Б*** схватилъ ее и побѣжалъ за Аделью, чтобъ отдать ей перчатку: она осталась у него.

Какою прекрасною казалась ему эта перчатка, какъ онъ ее любилъ, какъ цѣловалъ! Онъ-бы, кажется, за міръ блаженства не разстался съ нею! Одна только смерть могла его съ нею разлучить;— но онъ и не думалъ о смерти, онъ не могъ думать о смерти . . .

Есть одна эпоха въ нашей жизни, въ которую безпредѣльность земнаго счастія намъ кажется сбыточнымъ; гдѣ ни одна

мысль о смерти не отравляетъ нашихъ упоительныхъ мечтаній —

Эта эпоха: первая, у неба похищенная любовь!

VI.

РЕВНОСТЬ.

Я не таковъ. Нѣтъ, я не споря,
Отъ правъ моихъ не откажусь;
Или хоть мщеньемъ наслажусь.

— А. С. Пушкинъ. *Цыгане.* —

. . . . . . тревожитъ
Ее ревнивая тоска.
Какъ-будто хладная рука
Ей сердце жметъ, какъ будто бездна
Подъ ней разверзлась и шумитъ . . .

— А. С. Пушкинъ. *Ев. Онегинъ.* —

VI.

Б*** скорыми шагами ходилъ по комнатѣ. Его лице было блѣдно. Его волосы, прежде всегда столь тщательно причесанные, были въ безпорядкѣ и, упадая въ лице, почти закрывали глаза. Иногда только, какъ-бы случайно, рука его по-

дымалась, чтобъ стереть слезу — и упадала. Слеза продолжала катиться . . .

Недѣли двѣ тому назадъ къ С. пріѣхалъ изъ Бретани одинъ молодой Гусарскій офицеръ, которому Генералъ, какъ другу сына, уступилъ одну изъ своихъ комнатъ. Гусаръ и Б*** познакомились. Но Б*** не нравился Гусаръ; его что-то отталкивала отъ Гусара, онъ самъ не зналъ почему, — развѣ потому, что онъ иногда замѣчалъ, что этотъ Гусаръ съ какимъ-то особеннымъ выраженіемъ смотрѣлъ на Адель; что иногда даже, ему казалось, и Адель смотрѣла на Гусара не такъ, какъ бы ему хотѣлось, чтобъ она смотрѣла на другихъ; — но нѣтъ, ему это только *казалось* . . . Адели стоило лишь взглянуть на Б*** — и даже тѣнь сомнѣнія изчезала. И могъ ли онъ не вѣрить ея глазамъ, когда они такъ краснорѣчиво ему говорили: люблю тебя! — Онъ вѣрилъ. Лю-

ди всегда такъ охотно, такъ легко, такъ дѣтски-слѣпо вѣрятъ *своему* счастію. Онъ вѣрилъ! —

Однажды — это было въ день ея рожденія — Б*** безъ доклада вошелъ въ залу . . . Адель сидѣла возлѣ Гусара, рука ея покоилась въ его рукѣ; — они о чемъ-то говорили, и такъ были увлечены разговоромъ, что даже не замѣтили его прихода: онъ стоялъ, какъ пораженный громомъ! Всѣ его надежды лежали въ дребезгахъ у его ногъ! Его счастіе . . . . О, онъ уже не помнилъ, когда онъ былъ счастливъ . . . Въ это время Адель увидѣла Б*** и невольно вскрикнула. Гусаръ подошелъ къ нему:

— Здоровы ли вы?

Б*** насилу могъ проговорить:

— Слава Богу.

Онъ ни слова не сказалъ Адели. Онъ скоро ушелъ.

Онъ ужасно страдалъ! Всѣ муки ревности раздирали его грудь; цѣлый адъ кипѣлъ въ его груди! О, это мученье Тантала, любить и видѣть, что та, за которую бы отдалъ все — всѣ свои надежды, всѣ свои радости, жизнь свою, — смотритъ нѣжно на другаго, замѣчаетъ другаго; не видитъ только одного меня! . . .

Какъ въ эти минуты онъ ненавидѣлъ Адель!

И какъ опять потомъ онъ бы хотѣлъ броситься къ ея ногамъ, говорить ей, какъ онъ ее любитъ; умолять ее, просить у нея, какъ милостыни, только одной улыб-

ки, только одного слова любви! — Онъ вспомнилъ все то, что ему говорила Адель, — и ему показалось, что всѣ ея слова были такъ холодны! Онъ вспомнилъ ея улыбки, — но нѣтъ, Гусару она улыбалась нѣжнѣе. — Какъ сжалось его сердце! . . .

Была ночь.

Темноголубое небо искрилось миріадами звѣздъ; — во всей природѣ царствовала тишина. Прислонясь головою къ растворенному окну своего кабинета, стоялъ Б***; руки его были крестообразно сложены на груди, глаза устремлены на небо; — только изрѣдка, чуть примѣтная, какъ мысль, перебѣгала улыбка грусти по его устамъ, или легкій вздохъ, чуть слышный, какъ шопотъ любовниковъ, вылеталъ изъ его груди. Вдругъ подулъ ночной вѣтерокъ, зашевелилъ его волосы

и потушилъ одну изъ восковыхъ свѣчь, горѣвшихъ на его письменномъ столѣ —

Б*** глубоко вздохнулъ.

— Какъ коварны женщины, сказалъ онъ. Еще такъ недавно я ей нравился; а теперь? . . . теперь —

Онъ отошелъ отъ окна, прошелся нѣсколько разъ по комнатѣ и вдругъ остановился.

— Неужели она могла такъ скоро меня разлюбить?.... Вотъ чѣмъ она заплатила мнѣ за мою любовь! Она не стоила моей любви. — О, какъ я ее любилъ! Какъ горячо я ее любилъ! какъ свято! —

Онъ опять сталъ ходить.

— Какъ она клялась мнѣ, что нико-

гда мнѣ не измѣнитъ. И я, безумецъ, повѣрилъ ея клятвамъ! повѣрилъ, — когда клялась женщина! Какъ я наказанъ за мою легковѣрность, какъ жестоко наказанъ! Не женщины ли, начиная съ Еввы, были причиною всѣхъ нашихъ бѣдствій? И мы это знаемъ, и вѣримъ имъ — какъ дѣти вѣрятъ сказкамъ. Подѣломъ и наказаніе! — Женщина и древо познанія добра и зла не есть ли одно и то же? (онъ покачалъ головою съ горькою улыбкою). Адамъ, вкусивъ запрещеннаго плода, лишился рая; но развѣ мы, полюбивъ женщину, не лишаемся также нашего эдема — покоя души, безмятежности сердца? Развѣ эта ревность, раздирающая теперь мою грудь, не есть уже предвкусіе мученій ада? . . .

Онъ умолкъ —

Онъ подошелъ къ бюро, подавилъ

пружинку. Открылся небольшой ящичекъ: въ немъ лежала маленькая бѣленькая женская перчатка. Онъ взялъ ее, долго... долго смотрѣлъ на нее, поцѣловалъ — она упала въ ящичекъ. Онъ закрылъ бюро.

— Вы думаете знать сердце женщины? Нѣтъ, вы его не знаете. Это хамелеонъ, безпрестанно мѣняющій цвѣтъ своей кожи. Правда, нѣкоторые цвѣты прекрасны, блестящи.... но надолго-ли? Одинъ мигъ — и ихъ уже нѣтъ!

Онъ сѣлъ въ кресла и подперъ рукою голову:

— To be or not to be? говоритъ Гамлетъ. Лучше не быть! Съ бытіемъ неразлучно такъ много горя, такъ много... что право лучше не быть. Гдѣ бытіе, тамъ и горе; гдѣ горе, тамъ и бытіе... Адель! —

Онъ вскочилъ.

— И все-таки я ее люблю, люблю до безумія! —

— Нѣтъ, я не люблю ее! Неправдали, я не долженъ, я не могу ее любить?...

— Адель, не вѣрь мнѣ, ради Бога, не вѣрь! я клевещу на себя! я не помню самъ, что говорю. — Никто не полюбитъ тебя такъ, какъ я тебя люблю. Никто!... Скажи мнѣ, чѣмъ я тебѣ не нравлюсь. Я перемѣнюсь, я сдѣлаюсь такимъ, какъ ты хочешь — я сдѣлаю все; только люби меня опять такъ, какъ ты меня любила прежде. О, еслибъ я могъ вдуть въ твою душу хоть одну искру того огня, который меня пожираетъ, ты бы меня любила . . . Зачѣмъ я не могу? . . . Ты говоришь мнѣ, что любишь все такъ же, что ты равнодушна къ Гусару; — но отъ чего жъ иногда

ты такъ долго, такъ нѣжно на него смотришь? Не изъ любви ли ко мнѣ? О моей ли любви говорила ты съ нимъ по цѣлымъ часамъ, когда я, никѣмъ не замѣченный, замѣчалъ за тобою? . . .

— А я за одинъ взглядъ твой, за одну твою улыбку не пожалѣлъ бы всѣхъ моихъ надеждъ, всѣхъ моихъ упованій! —

Онъ сталъ писать:

« Есть цвѣтокъ, который распускается, когда взойдетъ солнце, и увядаетъ « послѣ его заката. Я похожу на этотъ « цвѣтокъ. Мнѣ такою прекрасною казалась « жизнь, пока ты меня любила, пока я думалъ, что ты меня любишь; но ты разлюбила меня — и я ношу смерть въ моемъ сердцѣ.... Не смѣйся Адель! Я тебя « люблю слишкомъ сильно, какъ только « Боги могутъ любить, потому и не пере-

« жить мнѣ утрату твоей любви . . . Мое
« сердце разтерзано ! . . .

«Вспомни, Адель, о тѣхъ дняхъ бла-
« женства, когда мы бывали вмѣстѣ, когда
« мы жили душа въ душу, когда я съ та-
« кою жадностію впивалъ въ себя твое
« дыханіе, прислушивался къ твоему голо-
« су, понималъ каждое твое слово, каждый
« взглядъ твой, каждую твою мысль;—когда
« всѣ наши желанія сливались въ одно : —
« любить и не разлучаться. Скажи, не была
« ли ты тогда такъ счастлива моимъ счасті-
« емъ ? . . . Почему жъ ты перемѣнилась ?
« — — — знаешь ли, Адель, я бы могъ
« плакать ; — но стоитъ ли плакать ? . . .
« Какъ ты умѣла любить, какъ ты умѣла
« окружить меня твоею любовью! Ахъ, и
« я былъ такъ счастливъ ; и я вѣрилъ, что
« не будетъ этому конца. Всему есть ко-
« нецъ ! . . . Адель, не смотри такъ на Гу-
« сара, не говори такъ съ нимъ, не подхо-

« ди къ нему . . . я становлюсь предъ то-
« бою на колѣни, я готовъ всю мою жизнь
« простоять на колѣнахъ, только . . . . За-
« чѣмъ онъ у васъ живетъ? . . .

« Отвѣчай мнѣ, Адель. Мою жизнь за
« твой отвѣтъ! » —

Онъ не могъ болѣе писать; голова его ходила кругомъ; всѣ мысли путались; онъ былъ близокъ къ сумасшествію. Нѣтъ, онъ не могъ писать болѣе.

Онъ запечаталъ письмо.

— Ну, а если она меня все-таки любитъ? сказалъ онъ, взявшись за колокольчикъ. Если это только одно испытаніе? . . . Нѣтъ, быть не можетъ! Молчи мое бѣдное сердце: тебя такъ легко обмануть!

Онъ позвонилъ.

Жокей его вошелъ въ комнату.

— Поль, ты кажется знаешь домъ Генерала С.?

— Какъ не знать, сударь.

— Такъ вотъ, возьми это письмо. Завтра, въ 10 часовъ утра, оно должно быть у Адели С. Отдай ей самой. За точное исполненіе 10 червонцевъ; за неточное . . . . я не держу у себя неточныхъ слугъ.

— Слушаю-съ.

Жокей подошелъ къ дверямъ.

— Поль!

— Что прикажете?

— Смотри! письмо ей самой въ руки.

Жокей вышелъ.

Б*** легъ; но внутреннія мученія не давали ему заснуть; кровь съ быстротою ртути переливалась по его жиламъ — и то вдругъ обдавала его кипяткомъ, то морозомъ перебѣгала по всему его тѣлу. Страшныя грезы роились въ его головѣ; и иногда, темная какъ ночь, являлась мысль о самоубійствѣ . . .

Свѣтало —

Б*** еще не спалъ.

Къ полудню Поль воротился съ отвѣтомъ. —

Долго Б*** не могъ рѣшиться распечатать письма. Онъ, казалось, боялся его содержанія, предчувствовалъ что-то горькое, что-то очень тяжкое. — Сколько разъ уже намѣревался онъ его распечатать; и каждый разъ ему казалось, что кто-то отдергиваетъ его руку . . . давитъ его сердце . . . шепчетъ ему: погоди читать! — И каждый разъ онъ слушался, какъ слушается ребенокъ, не понимая отчего онъ такъ послушенъ. — Но наконецъ уже не стало терпѣнія; его сердце изныло въ терзаніяхъ, ослабло въ мукахъ; все превозмогло любопытство — и печать затрещала . . . знакомый, вѣчно милый почеркъ поразилъ его взоры; . . . но онъ не читалъ письма, онъ только любовался почеркомъ, онъ только смотрѣлъ на почеркъ, ничего не видѣлъ кромѣ почерка; — и жадно, какъ пчела къ цвѣтку, онъ прилипъ губами къ письму и цѣловалъ его, не могъ перестать цѣловать . . . и

поцѣлуи, казалось, одушевили бумагу: она дрожала.

Онъ сталь читать. Его глаза впились въ письмо. Лице пылало.

Вотъ отвѣтъ Адели:

« И ты могъ думать, что я перестала
« тебя любить? И ты могъ это написать?...
« Я не понимаю, какъ послѣ всѣхъ моихъ
« увѣреній тебѣ могло показаться, что я
« когда-нибудь могу полюбить другаго. Б***,
« ты никогда не уважалъ меня. Скажи, не
« самъ-ли ты мнѣ такъ часто говорилъ, что
« мои чувства благородны? А развѣ благо-
« родно измѣнить своимъ клятвамъ, и ка-
« кимъ клятвамъ? . . . Б***, ты никогда
« меня не уважалъ. — Мнѣ бы по настоя-
« щему должно было теперь на тебя разсер-
« диться, не отвѣчать тебѣ; — но я не
« могу. — Ахъ, ты еще не знаешь, какъ я

« тебя люблю! Я никого, кромѣ тебя, не
« могу такъ полюбить. Не станетъ сердца
« полюбить такъ дважды! — Но Гусаръ не
« можетъ оставить нашего дома. Я *должна*
« быть съ нимъ ласкова, *должна* съ нимъ
« говорить. Не спрашивай меня: почему?
« Я не могу этого сказать тебѣ. Но ради
« Бога, вѣрь моей любви. Она все таже.
« Она никогда не измѣнится!

«Адель.»

— А!...

Б*** улыбнулся.

Еслибъ вы увидѣли эту улыбку, вы бы невольно содрогнулись; вы бы невольно пожалѣли о томъ, кто могъ такъ улыбнуться. Сколько горечи вылилось въ этой улыбкѣ! сколько безнадежнаго отчаянія!— Въ этой улыбкѣ заключалась цѣлая повѣсть страданій! — Все его лице покрылось

страшною блѣдностію — онъ пугалъ своимъ лицемъ. — Глаза его налились кровью и засверкали. Онъ въ судорожномъ движеніи сжалъ письмо въ своей рукѣ — развернулъ его — прочиталъ опять. Разорвалъ — сложилъ — прочиталъ еще разъ . . . разорвалъ его на мелкіе клочки, бросилъ . . . и они разлетѣлись по полу — и онъ какъ бѣшеный, какъ полоумный началъ ихъ топтать — Онъ выходилъ изъ себя!

— Вѣрить ея любви? закричалъ онъ хриплымъ голосомъ. Я вѣрю!

Онъ дико захохоталъ.

— Адель, я тебя любилъ; но теперь — ненавижу такъ же сильно, такъ же неистово, какъ прежде обожалъ!.... А онъ?... О, онъ умретъ!.... Слышишь ли, Адель, *онъ умретъ!!!* И я его убью! и я, обрызган-

ный его кровью, приду къ тебѣ, чтобъ увидѣть, какъ ты задрожишь; чтобъ посмѣяться — когда ты зарыдаешь. И когда я нагляжусь и насмѣюсь, — я тебя возьму, — я тебя задушу, — я тебя брошу, какъ бросаютъ все негодное. И что же останется отъ всѣхъ этихъ совершенствъ, отъ всѣхъ этихъ прелестей, меня погубившихъ, сдѣлавшихъ меня убійцею?.... — Обезображенный, посинѣлый, ужасный трупъ!... Готовь саванъ, Адель! Плачь надъ другомъ, больше плачь . . . я иду!!! —

И обезсиленный, полумертвый онъ рухнулся на полъ.

Онъ очнулся. — Передъ нимъ стоялъ Иванъ, весь въ слезахъ. Б*** безмолвно протянулъ къ нему руку: старикъ схватилъ ее и прижалъ ее къ своимъ губамъ:

— Что это съ вами, сударь?

Б*** печально покачалъ головою.

— Не больны ли вы? Не послать ли за лекаремъ?

Б*** взглянулъ на Ивана:

— Нѣтъ! Моя болѣзнь неизлѣчима. Мнѣ не поможетъ лекарь.

Оба замолчали.

— Пожалуйста, Иванъ, оставь меня одного. Да не сердись на меня, Иванъ. Я тебя люблю. Я тебя все буду любить. Я боленъ, Иванъ.

Иванъ плакалъ на взрыдъ.

— Что ты это?

Б*** отвернулся.

— Иванъ, если меня кто спроситъ, скажи, что меня нѣтъ дома. Но когда будетъ Жюль — просить. Ступай же!

Б*** остался одинъ.

Онъ страдалъ. Онъ ужасно страдалъ.

Какое-то чувство необъяснимаго безпокойства, что-то мучительнѣй безпокойства овладѣло его душею. Онъ не зналъ что дѣлать; не понималъ, что дѣлаетъ. Онъ то садился и начиналъ писать; то вскакивалъ, прохаживался по комнатѣ — снова садился, снова писалъ — рвалъ написанное. То подходилъ къ окну; то бралъ книгу, начиналъ читать, и задумывался... задумывался надолго, тяжко . . . и забывалъ о книгѣ. То вдругъ хватался за шляпу, хотѣлъ идти — и не уходилъ. Никогда еще его сердце не волновалось такимъ хаосомъ страстей, такою разнород-

ностію чувствъ! . . . Оно наполнялось, то ненавистію, то любовью, то неистовою жаждою мести, то какимъ-то томительнымъ желаніемъ примириться, и часто въ одну минуту отъ сильнаго бѣшенства переходило къ самому безсильному отчаянію. Онъ былъ бы готовъ плакать, горько плакать, — а минуту спустя, онъ бы могъ истерзать, измучить цѣлое человѣчество и радоваться, любоваться, какъ игрушкою, его страданіями.

— Дома? раздалось вдругъ въ передней; и Жюль, не снимая шляпы, почти вбѣжалъ въ комнату.

— Подѣломъ, подѣломъ! говорилъ онъ, покатываясь со смѣху. Вообрази себѣ: я шелъ къ тебѣ — передо мною вертѣлся какой-то франтикъ, раздушенный, разодѣтый. Онъ то-и-дѣло оглядывался и охорашивался, — вдругъ онъ поскользнулся и . . .

Жюль умолкъ. Онъ взглянулъ на Б***, и блѣдное, изрытое страданіями лице его, испугало Жюля. Смѣхъ замеръ на его устахъ; онъ не могъ опомниться.

— Другъ мой, милый другъ мой, сказалъ онъ наконецъ, ради Бога растолкуй мнѣ, что это съ тобою случилось? На тебѣ лица нѣтъ.

Б*** не отвѣчалъ ни слова, но взоръ его былъ неподвижно устремленъ на Жюля.

— Пожалуйста, не смотри такъ на меня. Ты ужасенъ!

— Ужасенъ? . . . . спросилъ вдругъ Б***, какъ-бы вспоминая о чемъ-то. Неужели я въ самомъ дѣлѣ ужасенъ? — И онъ машинально провелъ рукою по лицу, ухватился рукою за голову — и ког-

да рука его опустилась, она была полна волосъ.

— Да, сказалъ онъ, я ужасенъ! — Но здѣсь еще ужаснѣй, прибавилъ онъ, указывая на сердце.

Жюль невольно вздрогнулъ и приблизился къ Б***. Онъ думалъ, что другъ его лишился ума.

— О, говорилъ онъ Б***, сложивъ руки, успокойся! умоляю тебя, успокойся!

— Легко сказать: успокойся! — Но могу ли я успокоиться, проговорилъ съ страшною выразительностію Б***, когда *она* мнѣ измѣнила?

— Кто это? спросилъ Жюль, въ надеждѣ развлечь его вопросами.

— Безчувственный человѣкъ! какъ онъ холодно можетъ спрашивать: кто это? . . .

— Это та, продолжалъ Б*** съ возрастающимъ жаромъ, которую я любилъ, какъ никого не любилъ прежде; за которую величайшее страданіе мнѣ уже было бы блаженствомъ; для которой я съ такою радостію пожертвовалъ бы жизнью; которая столько разъ увѣряла меня, что будетъ любить меня вѣчно — вѣчно . . . Давно-ли, какъ она въ первый разъ сказала мнѣ: люблю! — а уже успѣла измѣнить. Вѣчно? . . . Какое странное понятіе о вѣчности! По мнѣнію женщинъ вѣчность въ любви вѣрно значитъ: любовь до новой прихоти. Прекоммодная вѣчность!

Онъ съ усиліемъ улыбнулся.

— Да, ты спрашивалъ: кто? Но къ чему тебѣ? что тебѣ въ имени? . . .

— Мнѣ измѣнила Адель, сказалъ онъ вдругъ, схвативъ руку Жюля. — Адель.... повторилъ онъ протяжнымъ голосомъ.

И онъ посмотрѣлъ на Жюля съ безчувственнымъ, мрачнымъ отчаяніемъ, и отпустилъ его руку.

Жюль не могъ этого вынести; онъ бросился къ своему другу и сжалъ его въ своихъ объятіяхъ; но Б*** не отвѣчалъ на его ласки, онъ стоялъ какъ-бы ничего не чувствуя, не трогаясь съ мѣста, съ глазами потупленными въ землю.

Б*** былъ отъ природы одаренъ страстями чрезвычайно сильными, буйными даже, если это слово болѣе опредѣлительно, и онъ предавался имъ совершенно, — de corps et d'âme, какъ говорятъ Французы, — былъ увлеченъ ихъ порывами: они обыкновенно продолжались не долго, но

были тѣмъ ужаснѣе. Такъ и теперь. Ревность совсѣмъ завладѣла и умомъ и сердцемъ Б***; но его ревность не была тѣмъ постояннымъ бѣшенствомъ, о которомъ такъ многіе пишутъ; — нѣтъ! сердце наше слишкомъ слабо для выдержанія продолжительнаго пароксисма: онъ возобновляется — и чѣмъ сильнѣе страсти, тѣмъ чаще; но быть безпрестаннымъ не можетъ; — и нерѣдко, послѣ такого припадка бѣшенства, наступаетъ какое-то безсильное отчаяніе,... невыразимая грусть, и даже — но это не всегда — робкое желаніе, что-то похожее на желаніе: ахъ, еслибъ этого не было . . .

— Ну, скажи самъ, говорилъ Жюль, хорошо ли предаваться такъ отчаянію? Ты вѣдь не женщина! — Но знаешь ли, что̀ мнѣ пришло въ голову? Я всегда уважалъ Адель, и чувства ея, сколько я понимаю, казались мнѣ всегда очень бла-

городными, даже возвышенными и . . . ты не долженъ сердиться: каждый воленъ думать — мнѣ что-то не вѣрится, чтобъ она могла тебѣ измѣнить, когда любила, когда клялась тебѣ, что любитъ. Отвѣчай мнѣ откровенно: ты ревнуешь?

— О, отвѣчалъ Б***, и глаза его вспыхнули, еслибъ я могъ теперь вскрыть мою грудь, вырвать мое сердце, показать тебѣ мое сердце, ты бы увидѣлъ, что въ немъ нѣтъ ни капли ревности; что въ немъ нѣтъ уже мѣста для другаго чувства, кромѣ жажды мщенія! . . .

— Мщеніе.... сказалъ онъ послѣ нѣкотораго молчанія; какъ должно быть сладко удовлетворенное мщеніе! Говорятъ, что оно даръ ада. Спасибо, адъ!

— Да будь же разсудителенъ, ради Бога перестань. Это пройдетъ. Ты уви-

дишь, что ты обманулся, что она тебя все еще любитъ. Увѣряю тебя . . .

— *Я не вѣрю увѣреньямъ!* — И что же, прибавилъ Б*** съ горькою насмѣшкою, всѣ ваши увѣренія, всѣ ваши клятвы? Ложь. Все на свѣтѣ ложь. Все, Жюль.

— Скажи, ты еще помнишь Джакомо?

— Джакомо? . . . Да. Что это тебѣ вздумалось спросить о немъ?

— Такъ. Его поступокъ съ Маріей былъ страненъ . . . .

Б*** взглянулъ на Жюля, отворотился и сухо отвѣчалъ:

— Нѣтъ!

— А помнишь ли, ты находилъ, что

Джакомо былъ виноватъ, кругомъ виноватъ? Отчего ты теперь думаешь иначе?

Б*** подошелъ къ окну и началъ барабанить по стеклу пальцами.

— Какъ нельзя учтивѣе! произнесъ Жюль, притворяясь обиженнымъ. Ты не хочешь даже отвѣчать мнѣ. То-то вотъ и есть, измѣнить тебѣ уголовное преступленіе, а обидѣть меня — ничего. Хорошо! Я жду, пока тебѣ вздумается мнѣ отвѣтить. А что, небось, долго придется ждать? Но шутки въ сторону. Скажи, неужели я надоѣлъ тебѣ? Да, говори же!...

Б*** вдругъ обернулся, подошелъ къ Жюлю, взглянулъ на него, кинулся къ нему на шею, съ какою-то судорожною нѣжностію прижалъ его къ своей груди, — и зарыдалъ.

— Ахъ, сказалъ онъ, положивъ голову на плечо Жюля, какой я ребенокъ! Не сердись, прости меня, Жюль. Я и такъ уже довольно несчастливъ! . . . . Еслибъ ты зналъ, какъ я ее любилъ и какъ она меня любила? — Какую жизнь мы жили! Боги могли бы намъ позавидовать . . . Я уже отжилъ — я пережилъ мое счастіе. — Зачѣмъ я пережилъ? Зачѣмъ она измѣнила мнѣ? промѣняла меня — и на кого? . . . (Онъ бросился на софу). Знаешь ли, Жюль, я еще и теперь люблю ее; — а иногда мнѣ кажется, что я ее ненавижу; что я могъ бы разорвать ее, замучить до смерти; — но я ее люблю, я ее ужасно люблю! . . . Адель, и чѣмъ же ты заплатила мнѣ за эту любовь? стоишь ли ты этой любви? . . .

Б*** всталъ и началъ ходить по комнатѣ; иногда онъ останавливался, наклонялъ голову нѣсколько впередъ, теръ лобъ

ладонью, вздыхалъ — и опять ходилъ. Жюлъ съ глубокимъ сожалѣніемъ слѣдилъ за всѣми его движеніями.

— Послушай, сказалъ онъ, когда Б*** снова остановился, — ну, а если ты обманываешься?

— Нѣтъ, другъ мой, отвѣчалъ Б***, печально качая головою, я не обманываюсь. Ахъ, еслибъ я обманывался! . . . У нихъ въ домѣ живетъ какой-то Гусарскій офицеръ. Я давно замѣтилъ, какъ нѣжно съ нимъ обходилась Адель; но не хотѣлъ слѣпо предаваться моей ревности — — я писалъ къ ней. И чтожъ бы ты думалъ она отвѣчала мнѣ? Что *должна* быть съ нимъ ласкова. —

— Я бы тебѣ совѣтовалъ . . .

— Убирайся ты съ своими совѣта-

ми!... *Должна* быть ласкова? — Смѣшно! А я ей *долженъ* вѣрить? — Это еще смѣшнѣе!

Онъ началъ шибко ходить по комнатѣ, вдругъ остановился, глаза его заблистали:

— Жюль, еще одна просьба, моя послѣдняя просьба! Я завтра стрѣляюсь. Будь моимъ секундантомъ. Да? Будешь?—

Жюль пожалъ плечами и кивнулъ головою въ знакъ согласія.

Б*** сѣлъ за письменный столъ и сталъ писать. —

— Какъ онъ испугается, этотъ Гусарчикъ, сказалъ онъ вставая, когда получитъ мою записку. Быть-можетъ, она застанетъ его на колѣнахъ передъ Аделью; —

быть-можетъ, ея коварныя уста и ему будутъ говорить тоже, что говорили мнѣ.... А!.... но это не надолго, мой Гусаръ. Не слова́ любви буду я говорить тебѣ! . . . Безумецъ, ты думалъ владѣть Аделью — Аделью, которую я люблю? . . . Нѣтъ, нѣтъ! она не будетъ твоею! Я вырву тебя у нея! Убійца или убитый ты потерялъ ее . . . и она, если въ ея груди есть сердце, она будетъ въ отчаяніи . . . Я отомщенъ! . . .

Два часа послѣ того, Гусаръ читалъ вызовъ на дуэль.

VII.

Д У Э Л Ь.

Dans l'orage,
Lis courbé,
Un beau page
Est tombé.
Il se pâme,
Il rend l'âme ;
Il réclame
Un abbé.

— Victor Hugo. —

. . . . . Qual morte ! Egli spirò.

— Monti. *Aristodemo.* —

VII.

Это было на слѣдующее утро. — Всходило солнце.... Отражаясь въ капелькахъ росы на травѣ и деревьяхъ, оно, казалось, обрызгало, осыпало золотомъ поля и лѣсъ. Легкій прозрачный туманъ разстилался по землѣ и прикрывалъ ее, какъ застѣн-

чивую невѣсту. Вѣтерокъ то дулъ, то затихалъ . . . .

Солнце взошло —

Посмотрите, какъ хорошо это юное утро! Замѣчали ли вы, какъ оно — какъ-будто пробужденное отъ сна — еще сквозь сонъ улыбается солнцу, стыдливо закрываясь остатками тумана? . . . Если же нѣтъ! тогда вы не видѣли ничего прекраснаго; не знаете, какъ въ эти минуты бываетъ очаровательна природа, чистая, новорожденная, омытая росою, облитая поцѣлуями солнца, обвѣянная зефиромъ, раздушенная ароматами цвѣтовъ! . . . О, это утро! Что можетъ быть лучше, краше, восхитительнѣй этого утра? . . .

Въ это время къ Булонскому лѣсу подъѣхалъ щегольской тильбюри. Кто-то спрыгнулъ. Тильбюри отъѣхалъ въ сто-

рону. Это былъ Б***. Немного погодя пріѣхалъ и Жюль. Они безмолвно пожали другъ у друга руку.

— Ты уже давно здѣсь? спросилъ Жюль, насилу удерживая зѣвокъ.

— Давно.

— Хорошо, что я вчерась былъ такъ догадливъ и велѣлъ человѣку разбудить себя; а то бы я пожалуй проспалъ до полудня. Никогда еще мнѣ не хотѣлось такъ спать, какъ сегодня. (Онъ зѣвнулъ) Я былъ у тебя. Какой же ты нетерпѣливый! Вѣдь еще рано.

Б*** не отвѣчалъ ни слова.

— Не знаю, продолжалъ Жюль, чегобы я не далъ, чѣмъ бы не пожертвовалъ

для того, чтобы не было этого дуэля. Проклятый дуэль!

Б*** продолжалъ хранить молчаніе.

И Жюль, удостовѣрясь наконецъ, что всѣ его старанія завести разговоръ, останутся напрасными, въ свою очередь тоже замолчалъ. Прислонившись къ дереву, онъ слѣдилъ за всѣми движеніями Б***; и каждый, кто-бы въ эту минуту посмотрѣлъ на глаза Жюля, узналъ бы, какъ искренно, какъ горячо онъ любилъ своего друга. Еслибы кто-нибудь въ эту минуту сказалъ ему: — дерись за Б***! — онъ-бы съ радостію сталъ за него драться. Добрый Жюль! . . . Б*** ходилъ взадъ и впередъ по опушкѣ лѣса. Часы текли . . . текли . . . а Гусара все еще не было. Б*** уже начиналъ терять терпѣніе. Онъ почти не сводилъ глазъ съ дороги. Носовой платокъ сдѣлался невинной жертвой его до-

сады и нетерпѣнія: онъ разорвалъ платокъ. Вдругъ онъ остановился; глаза его почти впились въ даль; губы его были стиснуты; руки заложены на спину; — по временамъ только онъ, казалось, съ трудомъ вбиралъ въ себя дыханіе . . .

Вдали показалась коляска. Это былъ *онъ!* И нѣчто, похожее на улыбку, искривило его губы; и нѣчто, похожее на лучь злобной радости, блеснуло молніей въ его глазахъ, пробѣжало судорогой по его лицу. Онъ поблѣднѣлъ . . . Онъ весь вспыхнулъ . . .

Лошади неслись во весь опоръ. Иногда облако пыли совершенно скрывало лошадей и коляску. Коляска пріѣхала, и кучеръ разомъ осадилъ коней: они только фыркнули и захрапѣли, какъ-бы удивленные силѣ руки, ихъ удержавшей, какъ-

бы недовольные и пристыженные своей покорностью.

Б***, сдѣлавъ надъ собой невѣроятное усиліе, стоялъ безъ малѣйшаго признака нетерпѣнія и досады; и тогда, когда его сердце почти изнемогало отъ борьбы страстей, онъ казался холоднымъ, какъ ледъ, спокойнымъ, какъ невинно оклеветанный предъ своимъ судіею.

Гусаръ быстро подошелъ къ нему и протянулъ руку.

Легкое наклоненіе головы было единственнымъ отвѣтомъ Б***.

— Извините, что нѣсколько запоздалъ. Я былъ задержанъ.

Б*** сдѣлалъ губами какую-то странную ужимку:

— Ничего-съ!

Гусаръ посмотрѣлъ съ удивленіемъ на своего антагониста.

— Вы вызвали меня. . .

— Да-съ! отвѣчалъ Б*** сухо, и отворотился.

Гусаръ остановился, нахмурилъ брови, но вдругъ, какъ-бы одумавшись, улыбнулся и продолжалъ:

— Скажите мнѣ, по-крайней-мѣрѣ, за что̀ мы будемъ драться. Признаюсь вамъ въ моемъ невѣжествѣ: я тутъ вовсе ничего не понимаю, и вчерась, пріискивая причину, которая могла бы васъ принудить къ вызову, я только напрасно ломалъ себѣ голову. Я за собой ничего не знаю. Объяснимтесь, и я увѣренъ, что мы, вмѣ-

сто того, чтобъ стрѣляться съ вами, разстанемся друзьями.

И онъ благородно, даже добродушно смотрѣлъ на Б***, и подошелъ къ нему съ явною готовностію примириться.

Б*** обернулся къ Гусару. Лице его выражало презрѣніе, смѣшанное съ какою-то жалостію.

— Вы боитесь? . . . спросилъ онъ.

Глаза Гусара сверкнули, какъ у тигра; на его лицѣ выступили красныя пятна —

— Нѣтъ, — произнесъ онъ съ такою медленностію и такъ протяжно, какъ заика, который учится говорить; но было видно, чего ему стоило не сказать ничего болѣе.

— Такъ становитесь! Я готовъ, и не люблю, когда меня заставляютъ слишкомъ долго ждать: это и скучно и неучтиво.

Они взглянули другъ на друга.

— Чтобъ доказать вамъ, по-покрайней-мѣрѣ, сказалъ Гусаръ, взявъ пистолетъ и зарядивъ его, что мнѣ нечего бояться, я покажу вамъ, какъ стрѣляю. Посмотрите вонъ на то дерево, что отъ насъ шагахъ въ тридцати, если не болѣе. Замѣтьте эту вѣточку, что виситъ. Она не толще моего мизинца.

Раздался выстрѣлъ. Вѣтка разлетѣлась на двое.

— Браво! закричалъ Жюль, удивленный мѣткостію выстрѣла.

Б*** презрительно улыбнулся.

— Не пугать ли вы меня вздумали, сказалъ онъ, смотря прямо на Гусара. Вотъ мое лице! Отыщите въ немъ хотя малѣйшій слѣдъ испуга. Но во всякомъ случаѣ я не понимаю, для чего *вы*, когда вы такой отличный стрѣлокъ (онъ опять улыбнулся), отговариваетесь отъ дуэля. Вѣдь вамъ первому стрѣлять, а я, кажется, потолще вѣтки. Только предупреждаю васъ, чтобъ вамъ не вздумалось пощеголять великодушіемъ, — если вы дадите промахъ, я подхожу на два шага и вы понимаете, что въ двухъ шагахъ мнѣ невозможно не попасть.

— Но, другъ мой, сказалъ Жюль . . .

— Я, сударь, стрѣляюсь не съ вами.

— Я, началъ Гусаръ, также мало боюсь смерти, какъ рѣдко даю промахи; но

никогда не дерусь безъ причины. Узнаю ли я ее?

— Нѣтъ.

— Послушайте, говорилъ Гусаръ и голосъ его былъ страненъ, дикъ . . . я дѣлаю теперь то, чего бы никто не сдѣлалъ на моемъ мѣстѣ. Скажите мнѣ, чѣмъ я оскорбилъ васъ, я буду просить у васъ прощенія; я даже напередъ объявляю, что если и обидѣлъ васъ: то это было сдѣлано неумышленно, нехотя . . .

— Вѣрю и дерусь!

— Но . . . .

— Господа, сказалъ Б***, оборачиваясь къ секундантамъ, потрудитесь зарядить пистолеты.

— Вы видите, продолжалъ онъ, обра-

щаясь къ Гусару, что я все-таки намѣренъ стрѣляться.

— Нѣтъ! вы не будете стрѣляться, вскричалъ Гусаръ, выведенный изъ терпѣнія, пока вы мнѣ не скажете, за что вы хотите, что бы я стрѣлялся съ вами! — И лице его было блѣдно, какъ полотно, и судорожно пальцы его жали ручку пистолета.

— Трусъ! . . . .

Неправда ли, такое маленькое слово: *трусъ?* не болѣе пяти буквъ — вѣдь крошечка, *пузырь*, какъ говаривалъ мой покойный дядя (славный человѣкъ, хотя и не большой острякъ. Ну, да не въ томъ дѣло.) а не смотря на все это, маленькое слово: трусъ, произвело надъ Гусаромъ то же самое дѣйствіе, какое произвела бы искра, брошенная въ зарядный ящикъ, разумѣется съ порохомъ. До-этихъ-поръ такъ убѣгав-

шій дуэля, Гусаръ, теперь не пожалѣлъ бы жизни за одинъ зарядъ, за одну пулю, за одну каплю крови Б***. О, онъ могъ бы теперь съ неистовымъ бѣшенствомъ каннибала растерзать его на части; высосать всю его кровь, подобно вампиру; обвить, задушить его, какъ нѣкогда змѣй задушилъ Лаокоона! —

— На смерть! сказалъ Гусаръ, съ хладнокровіемъ демона.

— Разумѣется, не на жизнь.

Секунданты размѣрили шаги. Они стали. Гусаръ взвелъ курокъ, прицѣлился, поднялъ пистолетъ, — и началъ его медленно опускать . . .

Глаза Б*** были неподвижно устремлены на дуло пистолета его противника. Онъ немного поблѣднѣлъ; но выраженіе

его лица нисколько не измѣнилось: оно было все такъ же холодно, все такъ же насмѣшливо —

Одинъ только Жюль дрожалъ всѣмъ тѣломъ . . . .

— Пафъ !!! . . .

Пуля пролетѣла мимо; ударилась въ дерево, но, уже выбившаяся изъ силъ, почти скатилась по стволу на землю.

Б*** только пожалъ плечами:

— Теперь моя очередь!

— Вы хотѣли подойти на два шага, сказалъ съ мрачнымъ отчаяніемъ Гусаръ. Что жъ вы не подходите?

— Потому-что издали попадаю такъ же вѣрно.

Онъ поднялъ пистолетъ, опустилъ его и, не прицѣливаясь, выстрѣлилъ.

Съ праваго плеча Гусара слетѣлъ эполетъ.

— Пуля была худо прибита, сказалъ съ досадою Б***, отдавая пистолетъ Жюлю. Я въ первый разъ въ жизни далъ промахъ.

— Другихъ пистолетовъ! закричалъ Гусаръ своему секунданту.

Всѣ старанія Жюля примирить враговъ были напрасны. Имъ хотѣлось крови. Кровь нужна была ихъ мести. Пистолеты были снова заряжены. Они опять стали.

— Жюль, сказалъ Б***, я вѣрно въ послѣдній разъ съ тобой вижусь. На этотъ разъ онъ попадетъ въ меня. Дай Богъ, чтобъ въ сердце. Жюль, благодарю тебя, ты былъ мнѣ истиннымъ другомъ. Если ты увидишь ее, скажи ей, что я не переставалъ ее любить, — скажи ей, что, когда я стоялъ передъ дуломъ пистолета, сердце мое не билось сильнѣй обыкновеннаго... Нѣтъ, не говори ей лучше ни слова. —

Онъ замолкъ на минуту и крѣпко пожалъ руку Жюля.

— Въ моемъ бюро съ правой стороны ты найдешь мое завѣщаніе. Исполни его. Я тебѣ поручаю Ивана; скажи ему, что я говорилъ о немъ за минуту передъ смертью. Прощай!

Они обнялись. Они долго, долго не выпускали другъ друга изъ объятій.

— Теперь довольно! сказалъ Б***, — еще разъ прижалъ Жюля къ своей груди и сталъ на свое мѣсто:

— Я готовъ!

На этотъ разъ Гусаръ въ самомъ дѣлѣ прицѣлился лучше.

Когда онъ выстрѣлилъ, Б*** вдругъ выронилъ свой пистолетъ, хватился за сердце, зашатался . . . . сдѣлалъ рукою движеніе, какъ будто бы хотѣлъ за что-то удержаться . . . и упалъ —

Краска смерти покрыла его лице; по всему его тѣлу пробѣжала чуть примѣтная дрожь; легкій вздохъ шевельнулъ въ послѣдній разъ его губы — и его не стало! . . .

Пуля пробила сердце на вылетъ.

— Онъ убитъ! закричалъ Жюль и бросился къ Б***.

— Пустите! сказалъ Гусаръ, отталкивая Жюля. Онъ подошелъ къ Б***, опустился на одно колѣно и приподнялъ его голову. Какъ дрожали его руки! Чего бы онъ не далъ, чтобъ возвратить ему жизнь; какъ бы онъ радовался, еслибъ могъ хотя малѣйшій признакъ жизни отыскать въ его лицѣ! — Съ какимъ безпокойствомъ онъ смотрѣлъ въ его лице!... Онъ пощупалъ пульсъ: пульсъ не бился. Онъ провелъ рукою по его челу: оно уже начало холодѣть.

О, это должно быть чувство ужасное: убить человѣка, и стоять надъ нимъ, и смотрѣть! . . . желать, чтобы онъ ожилъ, и не быть въ состояніи вдохнуть въ него жизнь, капельку жизни! . . . . О, какъ тогда въ груди вѣрно ноетъ сердце, какая

въ немъ бездна отчаянія! . . . Разорвалъ бы сердце; разорвалъ бы самаго себя — зарылся бы въ землю.... далеко въ землю, подальше отъ совѣсти и Бога — но гдѣ укроешься отъ совѣсти и Бога — гдѣ?... Кто сотретъ съ твоего чела знакъ Каина?... Если Богъ тебя спроситъ: куда ты дѣвалъ твоего брата? что ты отвѣтишь Карателю? . . .

Съ мрачнымъ безмолвіемъ смотрѣлъ Гусаръ на мертвеца.

Раздался стукъ колесъ —

Какая-то женщина, закутанная въ атласную Испанскую мантилью, скорыми шагами подходила къ мѣсту дуэля. Все въ ней выражало безпокойство. Ея никто не замѣтилъ. Она подошла; взглянула на убитаго: —

— Ай! . . .

Она упала безъ чувствъ.

Всѣ вздрогнули. Гусаръ почти машинально оборотилъ голову — взоръ его упалъ на женщину: — коса распустилась и покрывала все ея лице. Какъ-бы невольно, онъ вскочилъ, подошелъ къ ней — нагнулся и тихо . . . тихо . . . приподнялъ волосы — — вдругъ, смертная блѣдность покрыло его лице: онъ задрожалъ всѣми членами, болѣзненный вопль вырвался изъ его груди — онъ придавилъ руку къ своимъ глазамъ и глухимъ, задыхающимся голосомъ, почти сквозь зубы простоналъ:

— Моя сестра!

Въ женщинѣ онъ узналъ Адель.

Глаза Жюля невольно устремились къ небу, и нѣчто, похожее на укоръ, вы-

разилось въ нихъ; но вдругъ голова его опустилась на грудь:

— Боже! сказалъ онъ, утирая слезу, Твои Судьбы неисповѣдимы! . . . .

. . . .

. . . .

. . . .

Адель умерла въ горячкѣ.

═

Передъ отъѣздомъ своимъ въ Кале, Гусаръ еще отправилъ на почту письмо къ одному изъ своихъ друзей. — Онъ писалъ:

Парижъ 18 *Августа* 18...

« Ты говоришь, что мнѣ пора « возвратиться въ мой полкъ; что

« вамъ безъ меня скучно; что вы съ « нетерпѣніемъ ожидаете моего воз- « врата — Не ждите меня: я не воз- « вращусь!.... Я уже никогда не буду « назадъ!....

« Прочитавъ твое письмо, я ему « не порадовался. Я даже не улыб- « нулся! О, другъ мой, какъ я несча- « стливъ! . . . . И ни одной дружес- « кой груди, на которой бы я могъ « выплакаться до-сыта. Кто меня утѣ- « шитъ? . . . Слушай.

« По одному секретному поруче- « нію нашего Полковника, — ты зна- « ешь, — мнѣ должно было ѣхать въ « Парижъ, и до окончанія дѣла жить « въ немъ инкогнито. О, еслибъ я « зналъ?.... И въ самомъ дѣлѣ пере- « мѣна мундира, парикъ и накладные « бакенбарды до того измѣнили мои

«черты, что даже лучшіе знакомые «не узнавали твоего Жоржа; а съ «родителей и сестры, которымъ я разумѣется открылся, я взялъ честное «слово никому не говорить, кто я? «увѣривъ ихъ, что нарушеніемъ тайны они меня погубятъ. — Я былъ «такъ счастливъ въ кругу моихъ родныхъ! Могъ ли я думать, чтобы мечь «Дамокла только на одномъ волоскѣ «висѣлъ надъ моей головою? Что «громъ былъ готовъ разразиться надъ «моимъ семействомъ, когда солнце «счастія такъ ярко свѣтило намъ, «улыбалось такъ довѣрчиво. — Могъ «ли я это подумать? . . . . Адель, «какъ открылось послѣ, любила одного молодаго человѣка, котораго я «часто видѣлъ у насъ въ домѣ, котораго всѣ любили, котораго нельзя «было не любить. Замѣтивъ мое короткое обращеніе съ сестрою и не

« зная, что я ея братъ, — онъ началъ
« ко мнѣ ревновать ее, и кончилъ
« тѣмъ, что вызвалъ меня на дуэль.
« Повинуясь законамъ чести, я по-
« шелъ; но съ твердымъ намѣренi-
« емъ не драться, потому-что ни онъ
« меня, ни я его не оскорбляли; но
« образумить его было такъ же легко,
« какъ и усмирить бурю.

« Онъ назвалъ меня трусомъ.

« Ты знаешь какъ я гордъ! Ты
« не разъ былъ свидѣтелемъ моей
« вспыльчивости — скажи . . . Я не
« помнилъ самаго себя! Я кажется
« искусалъ бы его! О, еслибъ ты ви-
« дѣлъ, съ какою кровожадною радо-
« стiю я схватился за пистолетъ —
« какъ хладнокровно прицѣливался....
« Онъ былъ убитъ. Какой онъ былъ
« блѣдный! . . . Я все его вижу!...

« Не помню: какъ? только на

« лѣстницѣ я выронилъ изъ кармана « картель Б***. Сестра моя имѣла « привычку вставать очень рано по « утрамъ и прогуливаться въ саду. « Вотъ, и въ то роковое утро, она, « сходя съ лѣстницы, замѣтила что- « то бѣлое.... подняла.... это былъ « картель! Ты можешь себѣ предста- « вить ея ужасъ. Почти не помня се- « бя, она, только повинуясь своему « сердцу, выбѣжала на улицу, броси- « лась въ первый ей попавшiйся фiакръ « и полетѣла къ мѣсту свиданiя.... Но « когда она прiѣхала — ужъ все было « кончено!

« Сестра умерла. Что сказать тебѣ « объ отчаянiи моихъ родителей? Они « до безумiя любили Адель. — Когда « ты будешь читать это письмо, меня « уже не будетъ во Францiи. Я еще « буду писать къ тебѣ. Какъ тяжела

« жизнь , когда растерзано сердце !....
« Я убилъ сестру. Какое ужасное
« слово : убiйца. Боже ! . . . Я ѣду.
« О, не презирай меня !
« Жоржъ С. »

Жоржъ С. уѣхалъ въ Англiю. Долго страдалъ, мучился, былъ неутѣшенъ, убѣгалъ людей и удовольствiй . . . . и наконецъ (чего не сдѣлаетъ чародѣй-время?) кончилъ тѣмъ, — что женился на милой, доброй, тихой, скромной, богатой Англичанкѣ. Отчаянный поступокъ ! —

Или нѣтъ ? . . . .

=

На одномъ изъ кладбищъ Парижскихъ (не помню хорошенько которомъ) есть скромный памятникъ изъ бѣлаго

мрамора, и что̀ всего удивительнѣй, съ Русскою надписью. Это нагробный памятникъ Б***, воздвигнутый дружбою. На немъ, по приказанію Жюля, были высѣчены заглавными буквами пророческія слова любимца-поэта усопшаго:

Какъ зналъ онъ жить, какъ мало жилъ!

КОНЕЦЪ.

Цѣна 7 *руб.* 50 *коп.*

